

цены 1.50 к.

Полетный и Никитин

Київ 1893, Труды 1

Предисловіе или проп.

4

Воп
пред

ар 93 ?

Во главе VIII этой книги читатель найдет следующую отработку из одного частного письма Тьлинского:

«если бы мне и удалось взойти на верхнюю ступень лестницы развития — я и там бы попросил вас отгадать о мне отчасти во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеты, инквизиции, Филиппа II^{го} и пр. и пр.; иначе я с верной отчаянной брошью вниз головой. Я не хочу счастья и даров, если не буду спокоен на счет каждого из моих против по крови. Ибо, что дисгармония есть условие гармонии: может быть это очень выгодно и утешительно для меломанов, но уже конечно не для тех, которые сумели выразить свое участие идею дисгармонии». Эти строки приведены мною отнюдь не для того, чтобы поддержать всезнающую и непогрешимую авторитетность знаменитого писателя. Наоборот — для меня ясно, что авторитет Тьлинского писателя не за, а против меня. Это же сделалось на него, мне пришлось обратиться не к его сочинениям, а к переписке. Но и это может показаться странным, если припомнить, что приводимый здесь отрывок уже не раз цитировался в русской литературе писателями всевозможных и разных направлений. Это же за загадочные слова, на ~~которых~~ ~~сочинил~~ люди самых различных убеждений? Быть может заключающаяся в них мысль слишком обща и неопределенна, т. е. поддается многообразным толкованиям? На мой взгляд — нет. На мой взгляд едва ли во всем, что писал когда-либо Тьлинский можно найти еще одно место, в котором ему бы удалось так же и так определенно выразиться. И все таки, не смотря на

Ясной мысли и чуждым не затененным и простым
выражениям, различным толкованиям этого письма
оказались возможными. Никто из цитированных
этом отрывке не заметил даже, что вказан-
ная ^{такая} мысль находится в самом разном, во-
пьющем противоречии со всеми тем, что го-
ворил Билинский в своих критических ста-
ях. Это письмо не только было в том-ли
смысле, в каком истолковалась его горячая
литературная проповедь, даже его письмо и го-
лосу. Из чего, как во всем, что исходит от Би-
линского, можно видеть только великую идеа-
листичность, возмущающую свой властный голос в за-
щиту гуманности, человечности, добра. Выходит от-
вер-
жение философии и религии в виду того, что они
предлагают ему удовлетвориться по поводу гибели
сестры Ивана совершенством одного Петра!

В этой требовательности можно видеть и
видеть лишь своеобразное выражение запросов
справедливой ^{и гуманной} человеческой души. Поэтому само-
му произнису, даже не замечаясь парадоксаль-
ная, в сущности неслучайная, возмущительная и
гордая, в которой Билинский выразил свою мысль.
И в самом деле, какое удовлетворение может
дать религия Билинскому за каждую жертву исто-
рии, Филиппа II? Если Филипп II сажал на
кострах кучу еретиков — то требовать теперь
за них отчета — безнравственно. Они издохли и

или было безвозвратно, неоправданно, навсегда окончено. Путь уже никакой человек не поощряет и заставлять протесты, изобретать, требовать ответа у всей вселенной по поводу замученных и безвременно погибших людей очевидно уже поздно.

Нужно либо прямо отвернуться от всех этих печальных историй, либо если хочется, чтобы в твоей теории необходимо вошли все существующие элементы, из которых складывается человеческая жизнь — придумать что-либо в роде общей гармонии т.е. круговой поруки человечества и заставить в нас самих и в нас активизировать Петра — либо, ^{совсем} ~~раз навсегда~~ просить всякого подчитывания итогов жизни отдельных людей и переименовать разное всегда человека в „индивидуума“, признать, что всякая вещь в каком-либо общем принципе и что этому принципу индивидуума должна быть приписана в жертву. Тогда насоем окончить и начнем философия, настоящая всеобъемлющая философия, в которой вполне можно и определенно будет ваять, потому философия и истории терзали и терзают людей и, если что-либо останется проблематическим, то разве несколько вопросов теории познания, о пространствах и времени, причинности и т.д. Но все эти вопросы, как известно время терпит. Если для них ^{еще} не подоспела настоящая обсе-

непью - можно пока обойтись гипотезами.
Вряд ли возникли они, как и вся философия,
если верить Аристотелю $\delta\iota\alpha\ \tau\omicron\ \delta\alpha\iota\delta\alpha\lambda\alpha\iota$
ту, а чтобы удовлетворить итискающей из удив-
лений любознательности, вовсе уже не так
непросто, как можно найти „истину! Скорее
наоборот. ~~Скорее~~ „Истина“ в итискости не-
нужна. Если бы она оказалась внезапно отскан-
ной - это было бы очень неприятной сюрприз.
Но крайней мере Лессинг так утверждал (а
он же знает, что говорил), когда прошил Бога,
чтобы Он истину оставил при себе, а чело-
веку сохранил бы его способность заблуждаться
и искать. Но Бюлинекий, восточный ученик европе-
ских учителей, очевидно, неедит с собой или
в непредназначенной для публички частной бес-
еде думал и говорил иначе. Вконец не хотело
одним исканий - он требовал всей, полной исти-
ны и гордо протестовал против традиции
своих учителей. Это было опасной протест.
Вопасной потому, что он прозил прежде всего
самому „идеализму“ Бюлинского. Ибо в чем
сущность и психологическая основа идеализма?
Человек верить, что все его сочинения, вопросы, иска-
ния - только дело времени. Все это уже давно окон-
чательно и очень хорошо порешено; можно только
удостовериться или чиственно ввернуть, чтобы обсто-

итѣльно развѣннѣ и събѣ то, что другіе давно
 знаютъ. Вѣ того-то естественная ^{он} похва, на которой
 удачные всего произрастаетъ идеализмъ оказывается
 молодая культура, если ей приходится развиваться
 въ соседствѣ съ болѣе зрѣлой цивилизаціей. Давнее
 въ семьяхъ младшіе члены обыкновенно становятся
 идеалистами, принимающими на вѣру „убѣжде-
 ній старшихъ, уже болѣе знающихъ, болѣе опыт-
 ныхъ, болѣе искусныхъ во всемъ и болѣе совершен-
 ныхъ братьевъ. Каждое слово върослаго человека
 представляется таинственно содержащимъ
 ребенку. Чѣмъ испоконѣтъ и недоступнѣе оно,
 тѣмъ болѣе соблазняетъ оно юный умъ, который ви-
 дитъ въ немъ источникъ силы и превосходства
 старшаго. Молодая Россія долгое время стояла имен-
 но въ такомъ отношеніи къ Западу. Каждое, приходя-
 щее отсюда слово, казалось обаятельнымъ. Ими, глав-
 ными образцами, обуславливается идеалистическое направ-
 леніе нашей литературы вообще и Гоголевскаго въ част-
 ности. Старшій Западъ былъ несомнѣнно умнее, богаче,
 красивѣе насъ. И мы поначали, что призна тому-то „
 знанію, его опытѣ. Мы вѣрили, что есть у него „слово,
 которое онъ разрѣшитъ все. И этого слова мы
 искали въ его наукахъ, которую начали обоготворять
 много ~~раньше~~ раньше, чѣмъ узнали ~~ее~~. Какъ ужасно
 должно было бы быть разочарованіе каждаго иде-
 алиста послѣ того, какъ при болѣе основатель-
 номъ разсмотрѣніи своей свѣтлѣи, онъ убѣждался,
 что она не „истина“, а „искусная истина“!

Булгаринъ 159.

Въ этомъ разочарованіи и смыслъ общоюдраматическаго письма Булгарина. Отсюда его странность, неважливый требованіе и Тетель. Если бы Тетель прочелъ это письмо, онъ бы назвалъ Булгарина дикаремъ. Требовать отъ философа, что бы онъ далъ отчетъ за каждую жертву исторіи! Да разве это его дело?! И, затѣмъ, разве вообще можно, дураку, пытаться съ такою рода требованіями къ кому бы то ни было?! Правда, Тетель утверждаетъ, что действительность разумна. Но не вина Тетеля, если Булгаринъ истолковалъ его слова въ томъ смыслѣ, что „правда“ гарантирована побѣда на землѣ. Совѣмъ не то. Тетель былъ и самъ былъ идеалистомъ. Къ тому, какъ и русскіе тоже и мѣли свой Западъ и научились въ свое время вѣрить въ идеи. Только они были основательнѣе, прочтѣе въ своей вѣрѣ это уже было характера и національных особенностей — и потому не иначе подходили къ своимъ идеаламъ, какъ въ преклоненіи или колѣнами и ничто отъ насъ не требовали. „Действительность разумна“ у Тетеля значило только, что наука должна быть поставлена впереди всего и, что, следовательно, жизнь во что бы то ни стало должна быть изображенной, какъ вполне соответствующая своимъ требованіямъ разума. Пусть на самомъ дѣлѣ

4
ль этого нѣтъ — идеалистъ отъ этого не забом-
нитис — главное, чтобы въ каждомъ, изъ этихъ
эти истины всегда возвращалась. Нѣмецкіе идеа-
листы какъ нельзя болѣе понимали своихъ учи-
телей. Въ искусствѣ, въ наукѣ (даже въ об-
щественномъ и историческомъ) действительности
обрабатывалась такимъ образомъ, что она по-
только свидетельствовала во славу челоука и
разума, которой и до сихъ поръ въ Германіи
продолжаетъ гордиться своимъ ариозі. Идеа-
лизмъ продолжалъ и до сихъ поръ продолжаетъ
продолжаться въ этой упрямой странѣ.
И вдругъ на сцену является Бюлинскій и тре-
буетъ отчета у вселенной за каждую диссерта-
цію! За каждую — слышите? Вы не хотите
уступить за все міровое гармоніи ни единого че-
ловѣка, обыкновеннаго, средняго, простаго чело-
вѣка, который, какъ известно, историки и фи-
лософы считаютъ миллионы, въ качествѣ пу-
шечнаго мяса прогресса. Это уже не гуман-
ность и не идеализмъ, а что-то иное. Нѣмец-
кіе историки и философы тоже гуманны, но не
того когда дѣла прогресса улажены они отки-
дываютъ голову въ диссертацияхъ исторіи — но эти
вѣ, что требуется, что можетъ потребоваться гу-
манностью. Уже поначалу, отъ нихъ много
добавитъ обязанностей на себя будущаго: какъ изберу
наука обязана, тѣмъ въ будущемъ диссертация уже

не понадобится и когда-нибудь да прекратится
то невольное движение истории, при котором
целовичи уступают одному человеку являются
целый скачок из других людей. Это
все, что их располагает пауча в чужие
жесты. В будущем обобщается обязанности
счастие рождалось по всем людям. Политик
это знает о нем хорошо. Виз сам эти расска
зывает — и как красноречиво — в своих лю
бопытных статьях, но не забыть его собою
он возмущается собственным правосудием. Виз
не только не хочет отговаривать насильника, он
виз людей в жертву тем же людям, которые
или же не породится через это или тысячу
лет — он ~~возвращает~~ вспоминает давно забы
тые в патках людей далекого прошлого
и требует за них удовлетворения. Это эти
не просто гуманность — наравно с, более чужие
очевидно. Гуманность должна сиять, упо
каивать, примирять людей на определенной го
сударственности в их пользу ближнему. Порог
гуманности — отвечает, дает ответ на
вопрос. Политик же — спрашивает и так
спрашивает, что его вопрос грозит быть
его только самых возмущенных идеалистов.

5

Ибо, если позволительно так сравнивать, то можно
сказать, что, даже почти наизусть, что ответить
себе и не придется или что за ответом
нужно будет идти в такие области, которых
идеализм боится больше, чем самые ужас-
ные нигилизм. Зреть обобщенная формула идеализма
может получить обратный смысл. „Действительность
разумна“ придется использовать не так, что ее
следует одобрять и оправдывать до тех пор, пока
„разум“ не найдет ^{ее} (устроенной по своим законам, а
также, что „разум“ придется прийти от нее
взглянуть старая а priori новая а posteriori. Пои-
маете ли вы какой отсюда вывод? Может быть,
что, если в этой действительности не найдется
универсальности, иными словами, если не скоро будет
требовать отчета за жертва Филиппа, то разум
себе придется отказаться от своих всемогущи-
ных принципов и отскочить себе иной закон.... И
вообще, если действительность разума, если от нее
нельзя отказаться, если ее нельзя отрицать, если
ее нужно принимать, уважать — то не есть ли вывод
отсюда — вистизм, то страшное слово, которое до
сих пор отпугивало от разума тех, кто
сильные люди?

Вся эта „книжечка“ Виссариона и раскрывает
свои истинные. Все это держится под строгим
моей тайной в лаборатории писательской души. Вскоре
из нее „книжечка“ ^{превратится} в книгу, которую, святицу в ру-
ки беру в будущем, в лучшее будущее, которое при-
ведет когда нибудь к своей науке. Со временем ~~ее~~ оста-
ются дома и там забавляются за предерансом.

Публика знает всего этого не нужно. Не нужно ей знать

и того, что учителя пишут свои статьи за
одну почти присест, чуть-ли не в порыве
сопозавения. Вообще ей не случается слишком
много знать. Ей требуются идеал и тот, кто
хочет служить ей, обзаваясь в том, что ^{старая, ветхая!}
стало поспевать кля. ~~Старая, ветхая!~~ Лиса-
тиль подобен раненой тигрице, приоблекаясь
в свое логовище к гнетущимся. У нее стрела
в спине, а она до сих пор кормит своих моло-
ком беспомощных существ, которых гнет
до кровавой раны. И у Бюльиного брата
такая рана — о ней свидетельствует и его

„неисповество“ и приведенное письмо, и пре-
дсказание — но тем не менее ^{до конца жизни} ~~он~~ безмолвно
стоял на своем посту и думал свое думо.

В России существовало крепостное право —
не только в своде законов, но еще и в серд-
цах людей, в России было еще много другое
в том же роде. Ей нужен был публи-
цист, солдат. Бюльиному некогда было от-
рваться от своей службы, ему нельзя было ду-
мать о своей стреле. Но он сам всегда готов
был бороться с тьмой, кто не приходил
к нему активно на помощь.

Въ такомъ случаѣ я и сказалъ, что авторитетъ
 Гюльенкова писателя не за, а противъ меня.
 Но всему придетъ свой чередъ. Быть можетъ
 въ данное въ моментъ тактика Гюльенкова была
 то въ такой же мѣрѣ неумѣстна, въ какой она
 была законна и необходима въ ея время. Быть
 можетъ — теперь пишутъ о томъ, о чемъ молчали
 оны. Было бы не повѣрять, а преступничеству. Хотѣ
 ли и не вносить до сихъ поръ, сего ли дѣла поз-
 нанія тай-за и дѣла Ожиги, но для насъ уже
 выбора ~~было~~ нѣтъ. Но вывели отъ плохого
 первого и теперь — хотѣли не хотѣли — какъ
 придется приподнимать завѣсу надъ тайной,
 которую такъ тщательно скрывали Гюльенскій
 и говоритъ публично о томъ, о чемъ онъ говорилъ
 только насмѣхъ со своими близкими друзьями.

Л. И.

Кіевъ, 1899 года Июл

(4)

5/4 27 сент. 1915

1

Философия и проповедь.

("Добро" въ Учении гр. Толстого и гр. Кутузова).

447.

I

Wehe allen Lebenden, die nicht noch eine Höhe haben, welche über ihrem Mitleiden ist!

F. Nietzsche. Also sprach Zarathustra (Von den Mitleidigen)

Въ своей книгѣ „что такое искусство“, графъ Толстой не въ первый разъ, но со всей страстностью впервые выступившаго въ борьбу человека обрушивается на современное общество. Книга называется „что такое искусство“, но не нужно особенно проникновенности, чтобы понять, что не въ искусствѣ дело и что оно занимаетъ собою ея автора. Гр. Толстой говоритъ, что сочиненіе это задумано имъ еще 15 лѣтъ тому назадъ, но что оно не могло быть доведено до конца, т. е. мысли по этому предмету не были еще и для него самого вполне ясны. Въ сущности это не совсемъ такъ. 15 лѣтъ тому назадъ появилась въ печати статья гр. Толстого, называемая „мелочи, вызванная перепискою въ Москвѣ и въ ней уже основныя положенія „что такое искусство“ были высказаны вполне. Эта душевная буря, которая оторвала гр. Толстого отъ русской интеллигенціи и унесла его къ инымъ берегамъ, заставила говорить странныя и чуждые намъ слова, — слово давно живущихъ людей. „Что такое искусство“ — это заключительное слово дакиной проповеди.

нахатой много летъ тому назадъ. Я говорю, проповѣди, ибо все произве-
деніе ^{послѣднихъ годовъ} г-на Толстого, даже художественныя, имѣютъ исключительную за-
дачу: сформировать въ общественномъ и міровоззрѣніе обязательнымъ для
всѣхъ людей. Такое стремленіе уже рѣзко проявилось въ «Аннѣ Каре-
ниной». Интрига романа къ ней слѣдуетъ (Евангелискій) стихъ: «Милъ отъ мще-
ніе и азъ воздамъ». Мы привыкли его истолковывать въ томъ смысле,
что окончательный судъ ~~можетъ~~ надъ людьми можетъ и долженъ
быть произнесенъ не человекомъ и что удача или неудача нашей земной
жизни не служитъ доказательствомъ правоты или неправоты нашей.
Но въ «Аннѣ Карениной» чувствуется совершенно иное пониманіе (Еван-
гелискаго) текста. Уже въ этомъ романѣ г-н Толстой не только изо-
бражаетъ человѣческую жизнь, но судитъ людей. И судитъ не такъ, какъ
долженъ судить безпристрастный, спокойный судья, не обладающій вла-
стью, но не знающій и не глѣба, а какъ человекъ, глубоко и страстно за-
интересованный въ исходъ разбирасмаго имъ процесса. Намекая
строчка этого замѣчательнаго произведенія направлена противъ
небиднаго, но опредѣленнаго врага или въ защиту небиднаго же,
но тоже бывшаго опредѣленнаго союзника. И, такимъ образомъ врагъ,
тѣмъ острѣе и утонченнѣе оружіе, посредствомъ котораго побѣ-
ждаетъ его г-н Толстой, тѣмъ искуснѣе, сложнѣе, неважнѣйшей работѣ
посредствомъ которой поднимается подъ него авторъ. Степанъ
Арнадовичъ Облонскій пробивается черезъ — пропитскими забота-
ми, комическими затрудненіями, въ которыхъ онъ наскочилъ разнѣ

попадаютъ. Каренины — уже посерьёзней, но и съ ними, сравнительно, немало приходится хлопотать. Иное дело Вронскій и Кознышъ. Это люди покруткые; если они не могут по собственной инициативе создать что-либо новое, то зато они чуждуютъ развитую достаточно силы, чтобы поддерживать то и такое, кого считают своимъ. Или держатся известной стѣной; они — столпы, устойчивость которыхъ гарантируетъ прочность всего здания. И на нихъ гр. Толстой обру^{ив}ается со всею силой своего громаднаго дарованія. Не только вся деятельность — вся жизнь ихъ сведена на нихъ. Они и борются, и хлопочутъ, и увещаютъ — но все это оказывается только въ роде бѣгавшихъ бѣглыхъ въ колеса. Они служатъ на помѣть безсмысленному идолу, имя которому — тщета. Послушайте, какъ характеризуетъ гр. Толстой нравственный убѣжденіе Вронскаго: „Жизнь Вронскаго темъ была особенно счастлива, что у него были свои правила, несомненно определяющие все, что должно и не должно дѣлать... Правила эти несомненно определяли, что нужно заплатить шутеру, а портному не нужно, — что платитъ не надо мужиканамъ, а женщину можно, что обманывать нельзя никого, а мужа можно, что нельзя прощать оскорбленій, но оскорблять можно.“ Въ видѣтъ, что, по мнению автора, истинные нравственные побужденія Вронскаго — чуждые обществу предразсудки. Съ Кознышевыми тоже

или почти то же. Это увлечение — есть только модная поро-
жательность. Это душевная работа — поверхностная гра-
тельность ума, которая тем же меньше значить, чем пол-
нее и сильнее действительнее она выражается. Итого сто мещки — ки-
рному не нужные книги, остроумные разговоры с гостинками и
безполезное участие в различных частных и общественных уч-
реждениях. Вронский и Козняшев — это все, что можно найти
г-р. Толстой ^{призывает ить ксуду} среди ^{представителей} русского интеллигентного
общества нового времени. К книжке присогласияются еще много-
модом очеркашки фигура — но все это люди не значущие и не
могущие сказать свое определенное слово читателям.
Но последние и главные подсудимые, ^{по поводу} ~~рассказа~~ которого, оче-
видно и приведены в начале книги (евангельский) стихи —
является Анна. Ее ждет отлучение, ей воздвигает г-р. Толстой.
Она согрешила и должна принять наказание. Во всей русской,
и может быть и во иностранной, литературе ни один
художник так безжалостно и спокойно не подводил сво-
его героя. К описанию его страшной участи, как это
судил г-р. Толстой в своем романе с Анной. Мало сна-
дить безжалостно и спокойно — с радостью и торжеством. По-
зорный и мучительный конец Анны для графа Толстого от-
радное значение. Убивши ее, он приводит Лебина из тюрьмы в Бо-
го и заканчивает свой роман. Если бы Анна могла пережить

свой позор, если бы у нея осталось сознание своих ^{теловых} прав и она умерла не раздавленной и уничтоженной, а правой и гордой, чир. Поэтому была бы отнята та точка опоры, благодаря которой он мог сохранить свое душевное равновесие. Предвключилась альтернатива — Анна или он сам, ее гибель или его спасение. И он посягнул на Анну, которая при живом муже пошла за Вронским. Гр. Жоветой отменно изумляется, что это за муж для Анны — Каренин; нам никто он не описывает все ужасы положения даровитой, чинной, чуткой и живой женщины, прикованной узлами брака к неподвижному автомату. Но узлы эти ему нужно считать обязательными, священными, ибо в существовании обязанности вообще он видит доказательство высшей гармонии. И на защиту этой обязанности он возстает со всей силой своего художественного гения. Анна, нарушившая „правило“ должна понести мучительную смерть.

Все действующие лица „Анны Карениной“ разгруппированы на две категории. Одни следуют правилу, правилам и стремятся к благу, к спасению; другие следуют своим желаниям, нарушают правила и, по мере сил, избегают или пытаются избежать жестокого наказания. Ношу ли какое-либо из того и другого избежится. Анна — наиболее даровитая — ее

идет ^{крайний} ~~наивный~~ позор. Другие страдают меньше — пока. Кто-то думает, что, если бы говорил Толстой о войне в „Анне Карениной“ о конца жизни своих героев, то война была бы воздано по соответствию ее тем, насколько и как они нарушают „правила“.

Однако, в „Анне Карениной“ война, „правила“, почитаемая ир. Толстым за обязательная, еще сравнительно не велика.

В эпоху создания этого романа художник дает добру только относительную власть над человеческой жизнью. Больше того, служение добру, как исключительная и сознательная цель жизни, еще отрицается им. Как в „войне и мире“, так и в „Анне Карениной“ ир. Толстой не только не видит в возможности обличия жизни на добро, но считает такой обличь неестественным, фальшивым, притворным, в конце концов обязательно приводящим к реакции даже самого лучшего человека. В „войне и мире“ он производит суровый приговор ^{над} ^{ей} ~~ее~~ этой добродетельной, любящей и так глубоко преданной семье Ростовых ~~дочери~~. В итоге, уже выступают на сцену молодые семьи Николая Ростовых и Пьера Безухова, — жизнь взрослых на наших глазах людей — Пьера, Наташи, Николая и княжна Марья изображается осмысленной и полной. Они все падают себе своей жизнью и новой работой и спокойно продолжают дело своих

отцовъ. Имъ существованіе нужно, покаянно. Бона Софа случайный, всякъ стѣсняющій прищелъ - унаво сидитъ за самоваромъ, исполняя роль не то няньки, не то приживалки. А за ее спиной подруча ее дѣтство, Наташа и княжна Марья, такъ много умилявшаяся надъ идеями о добротѣ, теплотѣ и потопъ отнявшая у Софи Николая, вбуждаютъ ее жизни и приводятъ тѣмъ изъ Евангелія, которыми ее жалкое положеніе признается вполне заслуженнымъ.

Вотъ ихъ разговоръ:

„Знаешь что, сказала Наташа: - Вотъ та самая книга Евангеліе; тамъ есть одно слово прямо о Софѣ. - Что, съ удивленіемъ спросила графиня Марья. - Имущему дастся, а у неимущаго отнимется, поличше? Она - неимущій: за что? не знаю; въ ней нѣтъ, можетъ быть душа, - я не знаю; но у ней отнимется и все отключится. Идти ее часомъ жалко иногда; я часомъ жалела прежде, чтобъ Мисовъ женился на ней; но я всегда какъ бы предчувствовала, что этого не будетъ. Она пустоцвѣтъ (курень пр. Троицкаго), какъ на клубники“.

Здвали можно говорить, что подчеркнутый „пустоцвѣтъ“ его объясненіе „у нея нѣтъ души“ и потому у нея „все отключилось“ не только идее Наташи и княжны Марьи, которая вотъ и иначе толковала Евангеліе, но все-же, тогда

на Рокко, - соглашалась с Наташей; всякому очевидно, что эти
 лирические и счастливые, но не выдержавшие испытания
 возрожден^{те}ческие эскизы, есть и лирическое самого автора, "войны и
 мира". Соня - пустоцветы; ей ставится в вину отсутствие
 души, (не смотря) на то, что она вся - преданность, вся - само-
 утверждение. Это качество, в глазах гр. Толстого - не качество,
 ради ких - не стоит жить; кто только ими обладает -
 тот лишь похож на человека, но не человек. Наташа,
 багряная залученная за Петра через несколько месяцев после
 смерти князя Андрея, княжна Марья, которой, состоя-
 ние лирическое на выбор Николая, - обещавшая в рп-
 тительную минуту взять в жизнь часть - прав. Соня -
 неправа; она - пустоцветы. Ну можно жить так, как жили
 Наташа и княжна Марья. Можно и духовно стараться
 "быть хорошим", читать священные книги и умиляться
 повествованиями страницами и никуда. Но это только по-
 зия существования, а не жизнь. Здоровый инстинкт го-
 ожен показать истинный путь человеку. Кто, соблазнен-
 ный учением о роде и рождестве, продолжит жизнь, не
 отстоит в бреду своих прав - тот "пустоцветы". Толстой
 багряный, сгущенный градоны Толстой из того опыта, кото-
 рый был у него в эпоху создания "войны и мира". В этом
 произведении, в котором автор подводит итог своим

Но-летней жизни, добродетель an sick, истинное служение
 добру, покорность судьбе, не умиленные посты за себя —
 прямо выливаются человеку в вино. Надъ Солей, какъ свое-
 мудствѣ надъ Анной Карениной произносится приговоръ, —
 надъ первой за то, что она не преступила правила, надъ
 второй — за то, что она преступила правило. Но еще въ „Ан-
 нѣ Карениной“ антипатія гр. Толстого къ оному, пос-
 ватившему себя служению добру проявляется со всею си-
 лой. Какой жалкой изображена тамъ Варенька съ ее
 бедными, болезненными и ее безропотной жизнью при
 господѣ Италье! И съ какими отвращеніями вспоминаетъ
 Кити о своихъ попыткахъ служенія добру и о бою встрѣ-
 тѣ съ Варенькой за границей. Она предъ почитаетъ лучше,
 чтобы ее любили болѣе невѣрующими — „она, которая сви-
 таетъ, что невѣріе поубиетъ его въ будущей жизни“ — точно
 чтобы онъ болѣе тосковалъ, как^{ой} ~~ни~~ была она сама за границей.
 Наконецъ, главнѣйшій герой романа, авторъ его (авторъ / главы
 драматическаго произведения въ имени гр. Толстого: Левъ-Ле-
 винъ) — тотъ прямо заявляетъ, что сознательное служе-
 ніе добру — есть ненужная ловля. Вотъ что онъ разска-
 зываетъ авторъ: „прежде (это началось почти съ дѣтства
 и все росло до полной возмужалости), когда онъ (Левинъ)
 старался сдѣлать что нибудь такое, что сдѣлала бы

добро для всех, для человечества, для России, для всей деревни, онъ замечалъ, что мысли объ этомъ были приятны, но самая деятельность всегда была нескладная и сходила на ноль; теперь-же, когда онъ, после женитбы, сталъ больше и больше ограничивать жизнью для себя, онъ, хотя и не испытывалъ больше никакой радости при маломъ освои деятельности, чувствовалъ уверенность, что это ему необходимо, видя, что оно спорится гораздо лучше, чемъ прежде и что оно все становится больше и больше. Теперь онъ, точно противъ воли, все глубже и глубже врезывался въ землю, какъ плугъ, такъ что уже и не могъ вырваться, не отвернувъ борозды. И, благодаря тому, что онъ порвалъ со своими прощаниями, что отказался думать о суженіи для, всей России, всей деревни и т.д. онъ уже всегда, при всякихъ жизненныхъ обстоятельствахъ, знаетъ, что ему делать и какъ поступать, что важно и что не важно. Семья должна жить такъ-же, какъ жили дедъ и отецъ, хозяйство нужно вести возможно лучше и для этого наемать рабочихъ какъ можно дешевле. Огълаха, братъ и сестра и всехъ мужиковъ, не кому ходить и не, за советами, нужно позаботиться, но работнику, ушедшему домой въ рабочую пору, потому что у него умеръ отецъ — простить нельзя, хотъ и жалко его. Левина мужика мучитъ

отом, что он не знает для чего он живет, и как
жить, но тем не менее он, твердо прокладывая
свою особенную определенную дорогу " в жизни и под
концы убедился, что хотя он и не имеет добра, а
иметь своего счастья, но тем не менее иди, бери,
именно потому его жизнь не только не безсмысленна,
наконец была прежде, но иметь несомненный смысл
добра."

II

Откуда же взялся этот, смысл добра? Оттого добро пришло
Благословить Левина, а не других действующих лиц романа?
Оттого Анна погибает и заслуженно, Вроненский обращается в раз-
валину, Кознышев впадает в призрачное существование, а Левин
мало того что пользуется всеми благами жизни, еще пробудит
есть право на глубочайший душевный мир - пророка тиву нежных и
исключительных людей? Почему судьба так несправедливо оу-
чила Левина и так жестоко обидела Анну? Для другого писа-
теля - натуралиста, натуралиста - подобные вопросы существовать не
могут. Для него несправедливость судьбы - основной принцип
целого вещного жизни, столь очевидно вытекающий из закона ес-
тественного развития, что ему и удивляться не приходится. Но
такой писатель не цитирует (Евангелия и не говорит о возмож-
ности). Упр. Жюльетта, наоборот, самый роман " Анна Каренина "

Выванъ этихъ вопросовъ. Онъ не описываетъ жизнь, а спрашиваетъ
 ее, требуетъ отъ нея отвѣта. Это художественное творчество про-
 будается лишь потребностью разрѣшить мучащія его вопросы.
 Отъ того все его произведенія, и малыя и большія, и «война и миръ»
 и «смерть ивана Ильича» и публицистическія статьи и лиги
 характеръ совершенно законченности. Гр. Толстой предстаетъ
 передъ публикой всегда въ отвѣтѣхъ и отвѣтахъ, даннѣхъ въ та-
 кой опредѣленной формѣ, которая вполне удовлетворяетъ на-
 болѣе требовательнаго и строгаго въ этомъ смысле человека. И
 это, конечно, не случайность, не можетъ быть случайностью. Въ
 этомъ основная черта творчества гр. Толстого. Вся та оуро-
 ная внутренняя работа, которая понадобилась для созданія
 «Анна Каренина» или «войны и мира» была вызвана назрѣвшимъ
 до крайней степени потребностью понять себя и окружающую
 жизнь, отбросивъ отъ себя преслѣдующіе сомнѣнія и найти для
 себя-жестъ на время-прочную позу. Сильнѣе серьезна и настоящи-
 въ въ эти заповѣди, что бы можно было отъ нихъ спрашивать за
 простой описовкой непосредственно бросающіеся въ глаза образы
 действительности или передачи воспоминаній изъ своего прош-
 лаго. Нужно иное. Нужно найти свое правое жизни. Нужно най-
 ти силу, большую чѣмъ сила человека, которая бы поддержала,
 защитила это право. Личное вѣрье, симпатіи, пристрастія, ув-
 ѣренія, страсти - все тѣ элементы, на которыхъ обыкновенно на-

сатели реализма разлагаютъ человеческую жизнь - не обезпечиваютъ
 ничего и не могутъ успокоить гр. Толстого. Онъ ищетъ могучую, все-
 сильнаго союзника, чтобы его именовали говорить о своихъ правахъ.
 Вся сила гения гр. Толстого направлена къ тому, чтобы отос-
 лать этого союзника и переманить его на свою сторону. И въ этомъ
 гр. Толстой безпощаденъ. Къ тому ничего такого, чего бы онъ не
 уничтожилъ, если бы онъ явилось ему препятствіемъ къ достиженіи
 этой цели. И къ тому границъ его душевному напряженію, когда
 речь идетъ объ этомъ священномъ для него интересе. Зато, прит-
 борываясь, придумавать всякіе факты - гр. Толстой не хочетъ и
 не можетъ. Онъ пишетъ не для другихъ, а для себя. Поэтому-то
 онъ не только не прибавляетъ своему Левину ни одного не принадлежа-
 щаго ему качества, но честно и откровенно изображаетъ въ его недостатки
 и слабые стороны. „Таковъ Левинъ“, говоритъ намъ гр. Толстой, „и
 пресущественно ревливый, и эгоистъ, богуший общественныхъ дѣлъ, и невольный,
 неотесанный буржуй - и тѣмъ не менее добро съ нимъ, его жизни
 и жизни окружающихъ смыслъ добра“. Онъ не только устроилъ свою
 жизнь, согласно своимъ потребностямъ и желаніямъ, но онъ въ рѣш-
 ите угадалъ, куда идти, что дѣлать, для того чтобы добро было на
 его сторонѣ. „Добро“ - это и есть та могучая сила, которая дѣ-
 лаетъ Левина великаномъ въ сравненіи съ другими людьми, и бо-
 гомъ добра. - къ тому же. И въ моментъ появленія „Анна Каре-
 нина“ ^{онъ} въ жизни въ чемъ угодно удовлетворитъ гр. Толстого, только не

въ томъ, что добро не за Левина Мало того, что за Левина - оно сца-
противъ божь, кто думаетъ, чувствуетъ и живетъ не по левински;
оно противъ Козышова, Вронскаго, противъ Анны и оно или оуми-
оно или накажетъ, какъ бы бременно они не творились свою под-
ду надъ Левинами. Левинъ словно паучъ врезался въ землю. Пасица,
которая была бача гр. Толстой - найдена и на его стороне. Вотъ
Вареньки, Соня и другихъ добродетельныхъ существъ сужаетъ не на-
стоящему добру, ибо они не по Левински живутъ - и ихъ ^бВалитъ гр.
Толстой въ одну кучу съ Вронскими и Анной. Для нихъ не пригото-
вы тратедик и жестокое удара, но ихъ постыдное существованіе хуже
какого угодно негодства. Гр. Толстой никого изъ асертъ своихъ не
жалеть. Въ книгахъ не слышится у него никакихъ нотъ состраданія,
которая такъ часто слышна въ произведеніяхъ Диккенса, Тургене-
ва и даже у эксперименталистовъ, напр у Зола и Бурже, никогда
не пропускающихъ возможности подчеркнуть свои гуманныя чувства.
Гр. Толстой можетъ быть это покажется страннымъ, но многие
читатели упрекаютъ его въ холодности, въ безчувственности, въ сер-
дечности. Вотъ Анну Каренину подъ пальцемъ и ни разу не вздохнуть!
Слышитъ за аюніей Ивана Ильича - и не пролить ни одной слезы!
Это кажется до того непопулярнымъ и возмущительнымъ многимъ
читателямъ, что они готовы даже отрицать художественный та-
лантъ за гр. Толстымъ. Или представляется, что называютъ гр. То-
стого гениемъ - значитъ оскорбить нравственность, ставящую

Впереди всех своих требований улитыве сочувствовать несчастий
 ближнего. Они считают своей важнейшей обязанностью переводить
 гр. Толстого въ разрядъ ^{высоких} второстепенных писателей, не могущих
 сравниться съ Диккенсомъ или Тургеневымъ, полагая, что такими
 способомъ они отстаиваютъ святое право состраданія. Но ихъ
 мнѣнію нѣтъ не можетъ называться великимъ художникомъ,
 кто не проявляетъ достаточно сочувствія къ страданіямъ ближ-
 нямъ. И онъ — эти читатели — по своему даютъ великому праву.
 Они хотятъ быть сострадателами, потому что состраданіе —
 это все, что они могутъ дать въ себѣ обыкновеннымъ судьби-
 ннымъ. Жалко несчастныхъ, проливая слеза надъ погиба-
 ющими — они успокаиваютъ вѣчно тревожащія ихъ упреки
 совѣсти. „Немеза поставитъ на ноги сваливающагося — такъ
 полагаетъ надъ нимъ. Все легче будетъ“ разсуждаютъ они.
 Кому легче будетъ? На этотъ вопросъ они не отвѣчаютъ,
 этого вопроса они себѣ не ставятъ, не смѣютъ ставить.
 И, понятно, гр. Толстой, не проявляющій гуманнаго чувства
 нудаетъ ихъ и они торопятся къ „Стенному Королю Лиду“,
 къ разсказамъ Дикенса, да еще къ „Лурду“, ибо тамъ
 ужасъ, возбуждаемый картинами несчастія, разрываетъ
 безразличныя чувствами состраданія, показываясь
 авторами читателю. Да еще Зола, тотъ Зола, которыхъ
 такъ не любитъ гр. Толстой, во всехъ своихъ произведе-

Кавказ. 19.5 см.

Никак приводит нас въ умилениі своі способности состро-
гать героя своихъ героевъ.

Урада-еи Толстого нѣтъ и слѣда такого мажорсердечія.
Русская публика съ удивленіемъ услыхала вѣсть о кароленіи
въ Европѣ новаго направленія - нитианства, боюсъ кото-
раго проповѣдывалъ безпощадную суровость нѣ любви и
косяотплати. „Что слабо-то нужно еще толкнуть.“ „Не
желай бѣтъ врачевъ и безнадежно больного.“ „Мы думали,
что до нитише никто не возбуждалъ такихъ и порождень
иъ правды, нѣ заповѣ^{ей} нравственности. Болюсъ то
могъ бѣтъ удѣла, что похвала на западъ нравствен-
ности найдеть у насъ, въ Россіи, надежное удѣлище. Про-
тивъ нитише мы считали возмозжаніе выставить своего
богатыря, „великаго писателя земли русской“ - гр. Толста-
го. Далеко тѣ читатели, о которыхъ шла рѣчь выше, чита-
тели, инстинктивно бѣжавшіе отъ гр. Толстого къ Тур-
геньеву, даже и они выдвину въ авторъ „война и мира“ своего
естественнаго и мотуаго защитника противъ надвига-
ющейя съ запада проза. И гр. Толстой выступилъ про-
тивъ нитише и его направленія съ чѣмъ то поношеной,
на видѣ, съжестѣю и страстностію удѣленія. Въ нити-
иъ „что такое искусство“, нѣ уже было заложено, рѣш-
идеть не оъ искусствѣ. И даже не о французскихъ по-

такъ и операнъ Вагнера, въ которой подробно поворачива-
ются и дѣтъ о болѣе серьезныхъ и важныхъ вопросахъ, чѣмъ
искусство - о нравственности, религии и о болѣе значитель-
номъ и глубокомъ писателѣ, чѣмъ Верленъ или Бодлеръ -
о Ницше. Правда имя Ницше рѣдко называется у
Шоломъ, и читать изъ его произведений совсѣмъ нѣтъ.
Но г-н. Шоломъ дѣлаетъ Ницше отвѣтственнымъ за
новое направление въ литературѣ. Онъ говоритъ: „тѣ
послѣдствія ложнаго отношенія къ искусству уже давно
проявлялись въ нашемъ обществѣ, но въ послѣднее время
съ своимъ пророкомъ Ницше и послѣдователями его
и совпадающими съ ними декадентами и антикварами
эстетиками выражается особенно нагло. Дека-
дентъ и эстетъ, въ родѣ вскара Уальда, избираютъ
темой своихъ произведений отрицаніе нравственности и
восхващеніе разврата“. Къ сожалѣнію, повторяю, г-н. Шо-
ломъ, возлагая на Ницше отвѣтственность за все
прѣдъ нами новое попятаніе, не касается ни однихъ
словомъ съ философскаго ученія. Липъ надѣется даже,
что г-н. Шоломъ о Ницше только по наслышкѣ зна-
етъ, изъ вторыхъ рукъ. На это указываетъ, между
прочимъ, обличеніе, дѣлаемое г-н. Шоломъ мнѣ
Ницше и В. Уильямсъ. Если бы г-н. Шоломъ зналъ сож-

нема Нитше, він би не повторив тих слів. Замість
Мощной читав Нитше - він сква-ли би став говорить
о „назчості“. Можемо прикидати чи не прикидати утєкє
Нитше, можемо привітствувати єго мораль или предостєр-
гати против неє, но знає єго судбу, знає, какє пришлє
єнє кє євоєй философи, какоє цєноє было илє куплєно „своє
слово“ - нєлєзя ии возмущатєся илє, ии негодувати против
єго. У Нитше было святоє право. говоритє то, что онє
говорилє. Я знаю, что слово „святий“ нєлєзя употреблєти
неразборливо, вєдє. Я знаю, что люди охотно злоупотреб-
ляють илє, чтобє придати большє вєсє и убогитєльнос-
ти своємє сужденіямє. Но вє отношеніи кє Нитше, я
не могу подобрать другого слова. На єтоє писатєлє-
мученичєскій вєнецє. У єго было вєє отнято, что илє
раскєтєся обєктивноє чєловєчєскєє єжизнє и вєвалєна
тєжєлєє тєжєлєє ношє, какую рєдко кому-либє прики-
дєтєся нести на сєбє. У єго єсть расєнєзє в трєх
превращєніямє, котєрє поєвергаєтєся чєловєкє вє сво-
єй єжизни. Сперва, говоритє онє, чєловєкє превращєтєся
вє вєрблєдє. „Что тєжєлєє, спрашиваєтє вєнєсливай-
дух, и, подобно вєрблєду, опєсєкаєтєся на коєлєкє и єдєтє
тєдє єго наєрузилє. Что наибєльшє тєжєлєє, вє, гєроє? тоє
спрашиваєтє вєнєсливай-дух - я возмєу вє єто на

себя и буду радоваться своей силе. Унижаться, чтобы
 скорбить свое высокомерие? Дать проявиться своим
 глупости, чтобы помыслиться над своей мудростью? Или
 покинуть свое дело, когда оно готово праздновать победу?
 Воздвигаться ни в коем случае, чтобы не утратить неукре-
 пленности? Или питаться жолудями и травой познания и
 ради истинно терпеть духовной голод? Или в томъ:
 быть больным и отсылать учителей и вести друзей
 с своими, которые никогда не слышат, что тебе
 нужно? Или в томъ: идти в празную воду, если
 эта вода не только бросит от себя холодные
 лучи и горячие жабы? Или в томъ: терпеть
 любовь, которые нас презирают и променявают
 руку привидения, явившемуся пугать нас? Все, самое
 трудное, принимает на себя выносливый дух: подоб-
 но верблюду, спящему со своимирузами в пустыню,
 идет и он в свою пустыню".¹⁾ В этих ^{образах} словах —
 краткая история группой подвижнической жизни. Да
 не подумает читатель, что здесь есть хоть тень пре-
 увещения. Наоборот — здесь главного, быть может
 самого ужасного, — нет. Читая эти строки, можно
 думать, что истинно, выносливый дух, добровольно идет
 на муки, добровольно склоняет голову и сознательно

¹⁾ A. S. L. Von den drei Verwandlungen.

принял на себя непосильную для человека ношу. В то-
мощь еознательности и добродетельности подвижничества,
как бы тяжела само по себе оно не было, есть у него
и гордость: человек чувствует, что он не мало на
великое дела. Но у Нитше этого не было. Несчастье свали-
лось на него внезапно, неожиданно, может быть в тот
именно момент, когда он востигал себя наирадо за
свою прошлую жизнь. Когда его поразило горе — небо
было над ним ясно и чисто; он не ожидал ни отны-
да опасности, был добрым и спокойным, как малое дитя.
Он слушал „добру“, он вел чистую и честную жизнь.
Классика профессора, иконы и статуи у греческих фи-
лософов и поэтов и музыкантов, изучал Моцарта,
весь дружок и Вагнера и во имя всего этого, — что по-
читалось им тогда самым важным и нужным — отназа-
вался от греховителю жизни. Впоследствии он гово-
рил: „кто уже не жертвовал собой ради своего доброго
имени!“ и „ни за что нам такое добро не приходится
расплачиваться как за наши добродетели“. Но в то вре-
мя когда он ради этих добродетелей, ради этого „доб-
рого имени“ ушел в жизнь, чтобы в тиши своего кабинета
разрабатывать новые теории (так понимал он тогда
служение добру) — он не знал, не подозревал, более, что ~~так~~

такие несложные

гораздо придется расплачиваться за свою добросовестность. Если бы вы могли хоть бы на минутку ^{сесть} представить, что ждет это в будущем, вы конечно сильно призадумались над выбором пути. Но, кто может угадать свою судьбу? Кто не возвращается в молодости своими учителями и идеалами? Ничего только больше беззаветно, больше полно, больше посядовательно верить в непрерывность своих принципов. Вы все задушили в себе, все природные инстинкты и запросы, которые обыкновенно упиваются заставить подчиниться себе и самим добродетельным духом. Но у Нитше середина не была. Вы учили и учите - всему, что считали важным, пыжались, серьезными и за эти годы годовых советов позабыли о жизни. Даже при появлении первых признаков прихвотки болельщики Нитше не беспокоились. Вы на пороге плотных различного рода лгварства, что бы не возмущалось сложными логическими и не оправдаться от своего служения, и продолжали свои философские и профессорские занятия до тех пор пока недуг не свалился на окончательно. Только тогда понял, наконец, Нитше, что добродетель не защитит его от всего. Но уже было „слишком поздно“. Прошлого излечить нельзя было. Нельзя было „повсрнуть тот камень, который называется „то было“. Ветерное одно: разлечься - и ждать в прошлом оправдания, объяснения ужасного настоящего. А набо было это нас-

точнее можно судить хотя бы потому, что единствен-
ным обеспечением для него служили ^{мечтания} ~~мечты~~ о самоубийстве.
На „три четверти слепой“, подверженной всяким суици-
дальским и иррациональным и отбратительным припадкам, обречен-
ной безжалостной болезнью на полное угнетение, всегда на
волосок от смерти и безумия — так прожил Нитше
15 лет, в течение которых были написаны или его
главные сочинения. „Я с трудом прикинула жизнь го-
ворил он, я надеюсь, что скоро наступит конец мо-
им страданиям. Но конец наступил не скоро. 15 лет
и для меня ужасной болезни — срок слишком длинный.
Кто столько страдал и звал „блага“ — была только в преуве-
личенном доверии к нравственным идеалам. Тот
вправе сказать свое слово, тот вправе требовать,
чтобы его внимательно слушали и не узнавали о
нем от других.

Но, возвратимся к г-ну. Шюстлеру. Я сказала, что читающая
публика, — дама та, которая живет в г-на Шюстлера тайно
далеко менее значительной, чем в Диккенсе или Тургеневе, —
ждала от него наиболее серьезной оппозиции Нитшеанству.
Как ни холоден ей казался г-н Шюстлер — его называли ге-
ловником со стальной душой [это, между прочим любопытно —
г-н Шюстлер, угасший умирал даже гротескными рассказами —

стальная душа!) - но в нем были естественного защитника „добра“ и противника Нитше. Особенно, в виду его публицистических статей, в которых он с такой решительностью высказался сторонником дувального понимания Эвангелия. Правда, поклонники Шпенглера и Тюреллева далеко не всегда сочувственно относились к проповеди г-р. Толстого. Они находили, что он слишком уже усердствует, требуя, чтобы образованные люди пахали землю и огулались по лугам и т.д. Но когда пришлось выбирать между доведенной до крайности, но привлекательной нравственностью и совершенно уничтожающей обычную мораль учением - все склонилось на сторону первой. Сомнений ни у кого не было: г-р. Толстой и Нитше взаимно исключают друг друга. ~~Взвешивая~~ ~~Богослов~~ ~~и~~ ~~Богослов~~ того, г-р. Толстой и Нитше считали одним другим своей противоположностью. Нитше, говоря о „толстовском состраданьи“ полагает, что указывает на нечто, ему совершенно чуждое. Г-р. Толстой и говорит нечто: это последнее произведение, как было уже указано, имеет своей единственной целью отповедь нитшеизму.

Но так ли это? Действительно ли эти два, замечательных современных писателя столь чужды друг другу? Вероятно самая возможность такого вопроса покажется странной, тем более отрицательной ответ на него. Но потому,

никого

(не предпринимая ни в положительном, ни в отрицательном смысле), займемся теперь значительным публицистическим произведением гр. Толстого, которое введет нас в его книгу „что такое искусство“, и рассмотрим там и в главном вопросе, занимавшем Книту

III

„Могли бызвантыя переписка в Москву“ появились сравнительно скоро после „Анны Карениной“ — приблизительно между ними равняется 3, 4 годам. В сущности, он еще короче, если принять во внимание его признания гр. Толстого, что за эту статью он несколько раз принимался еще раньше, но ему никак не удавалось довести ее до конца. Очевидно, что переписка не была причиной перемены мировоззрения гр. Толстого. Все, что нужно было для нового душевного переворота уже давно было подготовлено у гр. Толстого. Переписка, как это часто бывает, происходит в жизни людей, более только в их жизни поводом, которого гр. Толстой уже, повидимому, давно искал. Это душевное равновесие — то, что он у Левина называл „жизнью, осмысленной добром“, уже давно было в области воспоминаний. Может быть „Анна Каренина“ была только попыткой возстановить прошлое и в то время, когда гр. Толстой с такой силой убеждений разсказывал нам, что „добро“ есть Левин и за Левина, что Левин как паучь врезался в землю, и что есть самое лучшее,

настоящее время - может быть в это время сам г-р Толстой
 уже жил только воспоминаниями прошлого, из которых его только
 настоятельные течения, есть очевидный и мучительный балло соз-
 нания, что казалась когда-то столь прочной почва, начинает
 уходить из под ног его ног. Бывает может быть особенный на-
 троечник и объясняется его плохо скрываемая радость по поводу
 возможности опозорить и уничтожить Дину. Он уже тогда
 сознавал, что теряет свои права, что хозяйство, семья, оураки-
 ченное богатство в жизни крестовых, эрондирование против
 либерализма и тазет, „отрицательное“ существо до дру- все то,
 словом, что наполняло когда-то собою Левинское существование -
 уже не удовлетворяет его, что снова явится какая-то пустота,
 что снова не растет той прочности, которая давала ему
 право смотреть на всех людей сверху вниз и считать, что
 за него - Бог и против всех его врагов - Бог. „Анна Карени-
 на“ написана, побужденному, ex post facto. Оттого-то в этом
 романе столько осторожной справедливости и приуменьшенной вни-
 мательности ко всем существующим лицам антилевинских
 наклонений. Никого из них, в конце концов, автор не поща-
 дит; но именно всегдетвие этого все они описываются с их
 лучшими сторонами. Они и добрые, и умные, и честные, и красивые.
 Г-р Толстой не торопится выставить на показ их слабости.
 Лишь изредка, мелкими и трюками, почти вставочными запис-

занятия и на время чтения, в чем неограниченность этих людей.
Но ударял на правление вярной и сильной рукой. Никто из них не
спасается: левинское восторжество встает.

Но, не на долго. „Анна Каренина“ — последняя попытка, срыва-
ющая пр. Толстого, чтобы удержаться на прежней почве. Все ста-
рые интересы уже для него не существовали; он чувствовал уже да-
леко за пределами левинских радостей и огорчений. Когда он
привык в Москву передъ переездом, то уже, по видимому,
не был тот же пр. Толстой, который недавно напечатал в „Рус-
ском Вестнике“ большой роман о мировоззрении, о бо-
жестве и о предопределении. Это был тот же уже и не молодой
человек — ему уже было тогда за 50 лет, хотя и прославив-
ший всеми писателями, в которых прежде всего проявлялась твер-
дость и искренность убеждений, но на самом деле чувствовал, что далеко от-
ловился, все прекрасно и ценно, но знавший только одно — что
то, что у него есть — ничего уже не стоит и что нужно искать
другого. Как ни странно звучит это, но ужасно, открытость или
при обращении москвитин притворы для бездомных и бродячих
людей были для него почти счастливой находкой. „И прежде,
производя впечатление, что ясная и чистая и строгая городская жизнь
теперь противопоставляла лишь то, что все радости роскошной жиз-
ни, которую прежде лишь казались радостями, стали для не-
го мучением. И как он ни старался найти в своей душе

хоть какие нибудь оправдания нашей жизни, я не могу без
 раздражения видеть ни своей, ни чужой постылкой, ни чужой, барен-
 накрайшаго стога, ни кипача, сытого кучера и лошадей, ни ма-
 газинцев, театров, собраний. Я не могу не видеть рядом
 с этими голодными, голодными и умирающими жителями ла-
 пинского края. Такое противоположение роскоши и обяза-
 чности собственной жизни с нуждой, лапинской нуждой —
 чрезвычайно может и должно вызвать в человеке, ни-
 когда не открывавшем глаз своих на несчастье ближнего,
 сильную реакцию. Но г-н. Толстой не был новичком в этом
 деле. Автор «войны и мира», так мастерски нарисова-
 ный нами весь ужас 12^{го} года, видевший перед собою
 тысячи смертей и убийств, самую страшную и отврати-
 тельную проявление человеческой жестокости и низости, и
 болевший твердостью из жизненных испытаний, не мог вы-
 тиснуть зрителям эту сцену, подобно тому индийскому юн-
 ку, который, впервые выходя из дворца, увидел боль-
 ного, старика и нищего. Я не могу этим сказать, что
 с наступлением зрелого возраста человек научается или дол-
 жно научиться равнодушно относиться к царствующему на зем-
 ляху. Нет, наоборот даже, взрослый человек может ближе,
 чем юноша, прикоснуться к сердцу несчастных людей. Но, тем не
 менее, загадочные становятся для нас переживания г-на Толстого

по поводу визитного листа в ленинском доме. Сначала, переда-
ется, что до такой степени поразила обстановка и условия жизни
обитателей коммунальных домов, что они не могли говорить об этом
без слез и злобы. „Я, сам не замечая того, со слезами в го-
лосе кричал и махал руками на своего приятеля. Я кричал:
такие нельзя жить, нельзя так жить, нельзя.” Но потом
весь ему, по его словам, стали говорить, что он волнуется ^и не
потому, что визитное ^и (зрелище) стало ужасно, а лишь по-
тому, что он сам очень „дурной и плохой человек”. И эта
разговоры убедили его. „Я, говорит он, охотно поверил этому.
И не успевая отягнуться, как влетели чувства укреса и раскаяния,
которое я испытываю сейчас, во время уже было чувство гордости
своей добротой и желание высказаться людям”. Вспомнил
г-р. Плоской начал, что его друзья обманывают его путаясь
и ловкими софизмами и что он не только не добротен
и хороший, но очень дурной человек и это привело его к про-
воду втречения от цивилизованной жизни. Рвущаяся злоба
вопрос: что было бы, если бы, рассматривая свою жизнь, г-р. Плоской
убедился, что его друзья правы и что он точно плохой и дур-
нотный, человек а не дурной и виноватый человек? По-
яснение обитателей коммунальных домов от этого не стало бы
мелко. Но все же на морозе толпились бы на полонку за-
мерзшие люди, едва прикрытые разодранными лохмотьями,

Л. З. г-р. [Документ 84] г-р. Стер

по преимуществу городовые водили ба в чаетки Кристованни-
цын, по преимуществу ба почные обшоры забирали ба кучи несеа-
тнаны и отбратительных проститутки — все остальное ба по
преимуществу, кроме одного: у гр. Толстого совет ба спо-
койна. И тогда можно было ба быть довольным своим доброде-
телью и показывать ее людям, какъ это случилось у гр. Тол-
стого, когда на время его друзьяхъ удалось убедить его?

Этотъ вопросъ гораздо важнее, нежели можетъ показаться из пер-
вого раза. Въ немъ объясненіе того, какое дело занимаетъ гр.
Толстого, чего ищетъ онъ въ московскихъ трущобахъ. Очевидно: не
въ нищихъ лепинского дома дело, а въ немъ самомъ, въ гр.
Толстомъ. Придя къ этимъ беднякамъ, онъ ищетъ не да-
вать, а взять у нихъ, онъ спрашиваетъ не за нихъ, а за себя.
Онъ ба можетъ уйти отъ нихъ, закрыть глаза, забыть ихъ, какъ онъ это
успеваетъ въ прекрасные годы, когда сталкивался съ несправедливостью, — но на
этотъ разъ нищія ему нужны. Не все, а некоторые и даже не эти,
лепинскіе, а другие. И отъ тѣхъ, которые ему не нужны — онъ уходитъ,
отвернется, какъ отворачивался тогда-то отъ Сони, отъ Вареньки, отъ
Анны, съ которыми не было непосредственно, лично связанъ — и придетъ
къ тѣмъ, съ которыми можно жить, которые не отнимаютъ жизнен-
ную бодрость, а увеличиваютъ ее, которые помогаютъ ввязаться какъ
плугъ въ землю и даютъ возможность радостно чувствовать, что
„добро“ опять на твоей сторонѣ. Словомъ тѣ бедняки, которые мо-

Зна.

зуть сроднѣть то, что сроднѣли для Левина хозяйство, охоту, семью и т. д. Что касается остальных, этихъ самыхъ городскихъ нумизмъ, изъ за которыхъ, повидимому все свѣтъ дорѣ загорѣлся — этихъ г-н. Плетой покнестъ: имъ поможъ нѣльзя. „Убѣжденно болѣе не должно желать бѣтъ врачевъ“. Эти слова, намъ помнитъ читатель принадлежатъ Кутисе. Я уже приводилъ ихъ рядомъ съ другими его изреченіями, почти тождественными: „что слабо — то должно еще толкнуть“. Последнее правило читатель, пожалуй, еще не рѣшился приложить къ г-н. Плетому. Но первое? Ему тоже ужасались. Оно рѣшируетъ собою отъношеніе г-н. Плетого къ чехинскимъ и роменскимъ бѣднякамъ.

Считаю почти переписи г-н. Плетой, записавъ всего наиболѣе нуждающихся, рѣшилъ заняться благотворительностью. Но изъ его знакомыхъ, которые обязали ему свое содѣйствіе, денегъ ему не дали. Плетой не мѣлся, онъ своихъ бѣдныхъ обходилъ некоторое время и кой кому помогалъ. Въ одинъ изъ своихъ обходовъ онъ наткнулся на голодную, не вѣсившую два дня теплицу. На его вопросъ, что она, ему отвѣтили: „была распутиная, теперь никто не беретъ, тѣмъ и не отъкуда взять“. Я не стану передавать подробностей этой ужасной сцены. Желая похвалить Кутиса не пона два дня. Но вотъ заключеніе ^{разрѣши} г-н. Плетого: „давать ей рубль и помню, что очень больно радъ, что другіе видѣли это“.

Неужели это правда? Неужели правда, что г-н. Плетой „очень больно радъ, что другіе видѣли это“? Не спорить нельзя: давши онъ, словно

прод. 11-й.

Решаю 125-й

16

делая разсказ о ситуации возникшей по этому поводу сложившейся обстановке: „мне так было приятно давать, что я, не разбирая, куплю или не куплю давать, даже и старушкам“. Я не хочу упоминать гр. Толстого или обижать его. (Автор „война и мир“, автор „анна каренина“ - были всякими обличенны и обличены). Но, учитывая значение книги понятие смысла и значение его проповеди. Эти открытые признания - для нас путеводные знаки, которые поведут нас, впрочем, за гр. Толстого к тому источнику, откуда он черпал свое пророческое вдохновение. В том, что ему было приятно, „так приятно“ давать милостыню даже в том смысле, когда на его глазах разгромается ужаснейшая драка - кто не почувствует ее в этих немногих словах: „была распуханая, теперь никто не берет, так и не откуда взять“? - в том, что грузы его могли хоть на время соображениями о чувствительности его души отвлечь его внимание от сцен московских полевых пожаров, ~~иногда~~ простая отрадная забота, а может быть и разгадка толстовской натуры. Уже теперь, не говоря о статье в перепечатке, можно предсказать, что она окончится. Словом, которому так нужно быть добродетельным - так или иначе окажется правым перед собой и перед всеми. Добро уже придет к нему, он приведет его к себе, хотя бы для этого пришлось лишить добра всех людей.

Так и было, и мы должны все, читавшие ее, воззвать

перепишу. " Гр. Пылевой бросил московских богачей, потому
что, как он подробно объясняет, и нельзя было помочь. Он
поймал из них давал деньги - и раз, и два, и три раза, и да-
вал столько, сколько по ним собственным расчетам нужно бы-
ло, чтобы жить на них - но все это ни к чему не привело. Ни одно-
го из них гр. Пылевой не удалось спасти. Тогда он ухаживал
в свою деревню, чтобы на досуге разобраться в своих впечатле-
ниях и найти выход из такого положения. А положение
фактически было ужасное. Слова, которыми определял гр.
Пылевой свое настроение: "так нельзя жить" показывали нам,
если это рассказ о московской богачестве и не происходи на нас
железная впечатлительность - как сам он отнесся к обнаженности
пред нами являющейся столичной жизни. И точно - как ^{такой} может ^{такой}
быть, ~~но~~ как гр. Пылевой жить, если наряду с ними существу-
ют обитатели почтенных домов? Хорошо только, которые ни-
когда не открывали глаза на эти ужасы. Но как быть тому, кто
их видит, кто их не может забыть, не может, не должен за-
быть? Можно их пощадить?

IV
Возвращаясь на эти вопросы получаются для нас результаты
в которых придется в своей деревне гр. Пылевой. Их знают
все и подробно повторить о них не приходится. Вспомнил, что
всегда наша в том, что мы, интеллигентные и честные
люди, собирающиеся помогать несчастным богачам из интелли-

сказано и иначе готово, - что мы сами не достаточны нравственно для
такого дела и, что прежде, чем мы попытаемся сделать, нам нужно ис-
читаться самим. Делать ничего нельзя, ибо эти долги не
не в деньгах нуждаются. Нам нужно научить работать - учиться
и любить труд, тот труд, который приобретает средства
к существованию. А нам еще можно ли научить нас этому, когда
мы сами ничего не делаем? Следовательно, прежде всего нужно
нам в самих себя подумать, сами ли исправиться - тогда
все остальное само собой устроится. Тогда мы можем словом
и делом учить, а не только словом, которому наши дела проти-
воречат; и, значит, мы, отказавшись от права на чужой
труд, эти самые принципы перестаем отнимать у других те
средства, которые им необходимы, а нам слушать для ро-
ссии. И пр. Писарев, сбросивши с себя европейское платье, одеваясь
по турецки, стал сам для себя топить печь, убирать комнату,
намыть, стирать и т. д., и тут-то, приходя к этому сознанию и
практическому вводу, говорит он, а было вознаграждение благ
же за то, что не заробывал перед бибородами разума и пошел
туда, куда они вели меня. "В чем же все оказалось награда?
В том, что латинские жители стали иными, что их судьба
стала менее ужасной? Нет, само собой разумеется, латин-
цы - злобные; лучше стало сам пр. Мачейо. ^{объясняет он} Вназаворь, что
потдав на физический труд во всем царстве, ты получишь для

которую я прежде проводилъ въ тяжелахъ усиленныхъ борьбъ есесу-
 кой, у меня оставалось еще 8 часовъ ... оказалось, что физиче-
 ский трудъ не только не исключаетъ возможности умственной
 деятельности, не только улучшаетъ ее качество, но повыша-
 етъ ее. И ^{онъ говоритъ} ~~доказываетъ~~: „Чѣмъ напряженнѣе была трудъ, чѣмъ болѣе
 онъ приближался къ считающемуся самымъ труднымъ зем-
 ледѣльческому труду, тѣмъ болѣе я приобреталъ наслаж-
 деніе, знаніе и приходилъ тѣмъ болѣе въ тѣсное любовное
 общеніе съ людьми и тѣмъ болѣе получалъ счастья жизни“. Не
 смотря на предостереженія врачей, физический трудъ не только не
 повредилъ здоровью, но наоборотъ тѣмъ „сильнѣе, бодрѣе, все-
 лѣе и добрѣе“ себя чувствовалъ пр. Пюстой, чѣмъ болѣе онъ ра-
 боталъ. И сверхъ всего этого — что самое главное — онъ испытывалъ
 полный душевный миръ, успокоеніе совѣсти, которое онъ, въ крат-
 коразговѣхъ и патетическихъ словахъ, обобщаетъ всякому, кто по-
 пытается его примыру: „тѣ почувствуете радость жить свободно
 съ возможностью добра, тѣ пробьете окно, прорветѣ въ облакъ
 нравственной міра, которой была закрѣта для тебя“. Таковы
 результаты, къ которому пришелъ въ деревнѣ пр. Пюстой.
 У нашего брата, уживающагося человека, есть возможность хоро-
 шо жить, спастись отъ скуки, стать бодрѣе, веселѣе, радос-
 тливѣе и, сверхъ того, опять привлечь на свою сторону добро, успо-
 коить свою совѣсть, стать очень хорошимъ, нравственнымъ и

Мариинск. 195 г.

18

счастливыми людьми. Гр. Пылевой узнал это у нищих ляхи-
скаго дома, которых он шёл помочь. Не правда ли эти нищие
были для него счастливой находкой, тем не менее, в те времена
больше всего нуждался в ту эпоху, когда он уже не мог быть
богатым, богатым, веселым, счастливым и нравственным на том
левинском манере, когда пыльная охота, семья и все прочее
такое было у него? Пылевой уже видно судьба Пылевых:
всегда они служили и служат средством для богатых. Если
нельзя или не нужно брать у них материальные блага, то
они предоставляют нравственные "удовольствия". Выводается, что не
только не нельзя жить "наше" в виду ляхи-скаго нужды,
но можно жить отлично - радостно, весело, богато, советами там,
как в свое время жили Левин или Пьер Безухий, после
жизни твоей. Даже больше того, теперь, после переписи, ляхи-
скаго совершенно новой, ~~ресурса~~ и чрезвычайно важной ресурса
в жизни - сознание того, что все эти радости не просто
рады, как бывали у других и даже не добро, как было у
Левина, а подвижничество во имя и ради страдающих близких.
Если и прежде можно было бороться против всех, кто не
по левински жил, если прежде можно было ради "добра"
уничтожить Вронского, Козышова, Анну Каренину - то теперь,
какого и то говорит, это право переходит в обязанность,
в святую обязанность, можно было бы сказать, если бы

скребающиеся под словом уничтожения содержания не так много
логично с нашими представлениями о святости. Гр. Плещей,
победителю, только и ждалъ того момента, когда, наконецъ, мож-
но будетъ прямо и открыто начать проповѣдывать - не въ романахъ,
а на падающемъ приходящемъ остервенено, съ соблюденіемъ всехъ усло-
вій, поставленныхъ художественной задачей, а въ специальнахъ
статьяхъ, не имѣющихъ никакихъ, постороннихъ проповѣдей, чуждыхъ.
Теперь только онъ нацеленъ себя прямо, настоящее дело.
Правда, гр. Плещей утверждаетъ, что онъ нацеленъ способъ исчи-
слить чуждость отъ всехъ общественнахъ нуждъ. По сло-
вамъ, онъ началъ, наконецъ, на архимедовъ рычагъ. Стоитъ толь-
ко надавить - и весь старый міръ перевернется, все дѣтство
исчезнетъ и люди станутъ счастливыми. Но объ этой сторо-
нѣ дела онъ говоритъ очень мало. Это для него само собою
разумѣется, такъ само собою разумѣется, что онъ даже
не допускаетъ искреннихъ сомнѣній въ годности средствъ, реко-
мендуемыхъ имъ для спасенія ~~и~~ чуждства. На все возмож-
ныя возраженія, онъ отвѣчаетъ либо сказками о чуждѣти, и
пугавшемъ своей настойчивостью дика моря, либо общими
разсужденіями, въ родѣ слѣдующаго: „это будетъ тогда (т.е.
все люди тогда нахнутъ ахитъ по принципамъ гр. Плещея),
это будетъ очень скоро, когда люди нашего круга, а за
ними все огромное большинство людей, не будутъ скупѣе,

что стѣдно идти въ линькахъ сапогахъ въ гостѣ, а не стѣдно
 идти въ калошахъ много людей, у которыхъ нѣтъ никакои
 обуви; что стѣдно не знатъ по французски или по голландски
 новости, а не стѣдно гостѣ жать и не знатъ, какъ это ста-
 вятъ; что стѣдно не имѣть крахмальной рубашки, и чи-
 стого платка, а не стѣдно ходить въ чистомъ платьѣ,
 выказывая тѣмъ свою праздность; что стѣдно имѣть гряз-
 ныя руки, а не стѣдно ^{не} имѣть руки съ мозолями. Все
 это будетъ тогда, когда этого будутъ требовать обще-
 ственныя лицьки. "... „Будетъ очень скоро". Скоро, конечно, по-
 нятіе условно: можетъ черезъ 50, можетъ черезъ 100 лѣтъ
 а можетъ и раньше. Но, съ того времени, какъ была
 окончена статья „мысли, вызванная перенесеніемъ" прошло 15
 лѣтъ. Не смотря на то, что г-нъ Толстой все это время
 неустанно продолжалъ одно и то же, обстоятельства не
 только не изменились, но и лучше, но стали еще ужаснее.
 Если бы онъ теперь, какъ 15 лѣтъ тому назадъ, вздумалъ
 навести въ московскіе ночлежные дома, — онъ, конечно, не
 нашелъ бы тамъ своихъ старыхъ знакомыхъ. Онъ поза-
 ботился время, состоящее съ земли и радости и несчастья
 но онъ нашелъ бы тамъ новыхъ людей, новыхъ же чужаковъ,
 какъ и ты, которыхъ онъ когда то видѣлъ. И этихъ людей
 теперь гораздо больше, чѣмъ было прежде. За 15 лѣтъ десяти-

могут быть сотни тысяч прошли через роковые дома,
жили там, мучались там, совершали преступления, умирали
в то время как гр. Толстой совершенствовался нравствен-
но в Ясной Поляне и готовил громкие статьи по агра-
рному интеллигентству, которых его приморье не соблазняет
ни подражанию. Что же это значит? Как же может гр.
Толстой говорить себе и убеждать нас, что он вполне
был удовлетворен за то, что не заработал предъ выводами
разума? В каком удовлетворении может быть речь, пока
существуют миллионы, да еще в таком подавляющем
количестве? Пророческое „так „будет очень скоро“ оказа-
лось неправдой, значит! И какой обидной неправдой! Тут
только называется то представляющееся на первый
взгляд парадоксальным обстоятельством, что проповедуя,
как и многие другие виды духовной деятельности чело-
века, не имеет ни цели и не имеет цели в самой
себе. Побуждению, гр. Толстой не только словом, но и
приморьем ~~убеждать~~ учить людей помогать ближним. Но оказывается,
что ни слово, ни дело не ближним отношения не имеет.
Статьи и книги, одна лучше другой, в смысле сил
и полноты выражений, непрерывно напоминают читателям
о безнужности и бесполезности Ясной Поляны, гр. Толстой все
больше и больше укрепляется в своем убеждении, что

онъ откроялъ новый путь, несолименно ведущій - и скоро -
къ всеобщему счастью, а счастье такъ-же дано и данъ прелесть
а горе. То чуждое горе о которомъ такъ мастерски разска-
залъ намъ знаменитый художникъ, осталось все тѣмъ-же
и дано стало чуждое. И онъ „удовлетворенъ“? И онъ чужд
забавъ свое ~~свое~~ „нельзя жить“, только потому, что
нашеетъ и пишетъ хорошия книжки, что ему снова уда-
лось переключить на свою сторону „добро“? Или „такъ приятно
давать“, онъ считаетъ это дѣло давая столь важнѣе,
что за нимъ можно забыть грозное „нельзя жить“
и даже выступаютъ съ суровыми, унижающими обличен-
ями противъ всѣхъ тѣхъ, кто не видитъ возможности
выбора по указываемому имъ пути?! Въ „либеральныхъ, без-
важныхъ перепискахъ“ обличитель, сравнительно, еще не такъ за-
мѣтенъ. Гр. Толстой, вновь почувствовавъ пріятство добра,
считаетъ себя еще слишкомъ богатымъ, чтобы сердиться и
негодовать. Онъ какъ будто бы надъѣтая лаской и добротой
любовью повести за собой людей. Но люди, конечно, не пошли
за нимъ. И, по мере того, какъ уходило время и „это
будетъ скоро“ затягивалось, счастливые времена не
наступали, пророчество не сбывалось, разграбленіе гр.
Толстого все росло. Явилось извѣстное „кто виноватъ?“
Кто виноватъ, тѣ простое и ясное ученіе гр. Толстого

не осуществляется? Вина в том — люди и только, но можно, лю-
ди — и бо кто-то еще группой, кроме людей ответить, кому
можно будет выжить в виду, на кого можно на-
пасть, кого упрекать? Иначе уже свойство нравствен-
ности. Она не может существовать без своей проти-
воположности — без нравственности. Добру нужно зло, иначе
объяснить мучений, а добрым людям — злые люди, кото-
рым можно призвать к суду, хотя бы не воображаемо-
му суду собою.

Этим и объясняется странная симпатия гр. Толстого к кантов-
ской „критике практического разума“. Последователь Евангелия, уч-
ник Христа, ^{завладевает} что критика практического разума, содержит в себе
нужность нравственную учения. Уже одно происхождение „критики“ от-
нимает у нехристианского христианина право называться кантовцем.
„Критика практического разума“ является только пристройкой
к „критике чистого разума“. Кант наш скептический суждений
и разума и признает их истинными в наших знаниях, условиях су-
ществования науки. Кант способен, как он сам объясняет в сво-
ем введении, как задержав скептицизм Юма, устанавливая в не-
возможность какой бы то ни было науки. Правь или неправь обещ
Кант, разрешивши таким образом Юмовскую задачу, но решеніе
неизлечимо ему до того важная и всеобъемлющая, что он, не зат-
рудняясь признать его и не вопросам нравственной философии.

В опятнаних науках насъ смущало понятіе о призрачности и
 мы склонны были признати его незаконнымъ гдѣтущимъ опята. Какъ
 доказать его законное происхожденіе, отнести его къ сиктетическимъ а-
 ріорнымъ сужденіямъ т.е. къ такимъ, которые предшествоуютъ влѣту,
 обусловливаютъ собою влѣтъ. Катеорическій императивъ построены
 на образъ и подобію катеоріи призрачности и только потому, что
 для полноты системы ему должно было быть такъ построеннымъ.
 Фактвительныя противорѣчія въ области нравственной жизни
 для Канта уже не существовали. Предъ нимъ стояло неоконченное
 знаніе метафизики и его задача состояла лишь въ томъ, чтобы
 не изнѣняя разъ задуманнаго и на половину выполненнаго пла-
 на, докончить начатое. И явился катеорическій императивъ, по-
 ступаетъ свободно воли и т.д. Въ эти, столь роковыя для насъ вопросы,
 имѣли для Канта лишь значеніе строительнаго матеріала. У
 него были заданная мѣста въ знаніи и ему нужно было мета-
 физическія затѣчки: въ не задумывался надъ тѣмъ, насколько то
 или иное рѣшеніе близко къ гдѣтвительности, а смотрѣлъ лишь,
 въ какомъ соотноствіи находится оно съ критикой чистаго
 разума — подтверждаетъ ли оно ее или нарушаетъ архитек-
 тическую гармонию логическаго построенія. И, конечно, своей цѣли
 онъ достигъ. Логическое соотноствіе между частями знанія ни-
 чего не оставляетъ желать: оно вполне кантовское. Но тѣмъ
 поразительнѣе отношеніе пр. Фихтего къ критикѣ практическаго

разума. Что общего между историческими императивными или
принципами возмездия, провозглашаемыми Кантом и евангельскими
учениями? Если немцы не проделают добра передъ правосуд-
ными учениями Канта, если они восхищаются его „благородной заботой
дога“ — это понятно. Иные больше всего правят^{тсѣ} то обстоятельство,
что у Канта этика, по прочности и точности своихъ законовъ при-
ложена къ математикѣ. Но г-н. Полютой? Какъ могъ онъ при-
жириться съ учениями, где принципъ наказания выставляется не
милосердіе, а справедливость („торжес слово справедливости“ какъ
выражался онъ еще въ „войнѣ и мирѣ“), где говорится, что на-
казывать нужно не затѣмъ, чтобы оградить общество отъ опас-
ности и оградя не затѣмъ, чтобы исправить преступника, а потому
ли, что преступленіе совершено. Для Канта возможность попра-
вить въ данномъ случаѣ слово „затѣмъ“ словомъ „потому“ было на-
стоящей и очень важной побѣдой: ad maiorem gloriam критики
чистаго разума, интересъ которой для ея автора естественно на-
звался самымъ высокимъ. Но г-н. Полютой говоритъ, что критика
чистаго разума нигде не говоритъ, что она „только потакаетъ
царствующему злу“. Что все привнесено въ критику прак-
ческаго разума? Завалили эту прищипку по сердцу учени Канта о
состраданіи. Какъ известно, Кантъ отвергалъ состраданіе, на Юмъ
„рекомендация“, что оно только увеличиваетъ количество страданій,
прибавляя къ тому страдающему еще горе сострадающего. Вотъ эти

практические выводы, которые так похлещки Канту, так мало
 гармонируют с запросами г-на Толстого, по словам которого
 „все благо людей только в отвержении от себя и служении
 другим.“ Что же по поводу его, так скупую расточающую пох-
 валу ученых - особенно знаменитых - вознесит „критику чуж-
 дого практического разума“? Выходно - одно: исторический им-
 ператив, обязанность служить добру, как добру, то самое, что
 когда-то Лейбниц, после мучительных соображений, отвергло, как
 антихристианский, ложный принцип. Теперь же для г-на Толстого
 этот принцип дороже всего. „Служить добру“ для него это не
 только не бремя, а облегчение от бремени. И сверх того, это
 дает ему, помимо лирических обязанностей, еще право требовать
 от других людей, чтобы они делали то, что они делают, чтобы
 они жили так, как они живут. ~~Вот~~ Это дает ему счастье
 по возможности вступить с проповедью, открывает ему но-
 вые горизонты и перспективы, в которых он теперь больше, чем
 когда бы то ни было нуждается, после того как „война и мир“
 и „Анна Каренина“ заключили собой эпоху перевода его существо-
 вания, когда балки других горизонтов и перспективы. И вот
 истинный кантовский догмат, в той своей форме, которая не допу-
 скает никаких сомнений о том, что „можно“ и что „невоз-
 можно“ ложится в основание учения г-на Толстого, того самого
 г-на Толстого, который еще недавно так мало верил в разум,

и требовалъ отъ людей, чтобы они не мѣняли логическимъ пути
своихъ отцовъ и възирались не соображеніемъ ума, воображающаго,
что они могутъ перекроить міръ, и непосредственному инстинкту,
дающему возможность „връзаться какъ пчела въ землю“

V.

Быть можетъ гитатися покажутся несправедливыми и ненуж-
ными сличенія поваго ученія гр. Плеханова съ его прежними миро-
воззрѣніемъ. Кто старое помянетъ — тому глазъ вонъ. И, затѣмъ,
гр. Плехановъ такъ торжественно отрёкся отъ своего прошлаго,
что укоряетъ его въ противорѣчій и непоследовательности уже
сегодняшніе измѣненія. Онъ въ самомъ признаніи, что былъ дуракомъ.
Иго же еще? Но, прежде всего, я мечтаю, что бы то ни было кону
укорять гр. Плеханова онъ былъ, сѣтъ и на всегда останется
„великимъ писателемъ земли русской“. Если я заглядываю въ его
прошлое — то вовсе не затѣмъ, чтобы уличать его — а единственно
съ тѣмъ, чтобы лучше разъяснить собой смыслъ и значеніе свѣденія.
И, затѣмъ, меня не столько поражаетъ разница между новымъ и
прежнимъ гр. Плехановымъ, сколько единство и последовательность въ раз-
витіи его ученія. философіи. Правда, есть и существенная проти-
ворѣчій — и ихъ забывать не слѣдуетъ. Гр. Плехановъ „Брехки, войны
и міра“ и „Анна Карениной“ во всякомъ случаѣ является для насъ
важнымъ свидѣтельствомъ, которое не только можно, но должно обя-
зательно вслушаться. Въ особенности въ виду того обстоятельства,

что, как было показано выше, ~~что~~ этот замечательный человек
 упорно и постоянно, в течение всей своей жизни, высказывалъ убежде-
 ние, что въ „добра“ нѣтъ спасенія. Все измѣненія его философии
 никогда не выходили за пределы жизни въ добра: перемѣны прои-
 ходили только въ представленіи о томъ, въ чемъ это добро и что
 нужно принять, чтобы имѣть право считать его на своей сторонѣ.
 Отъ того-то въ гр. Пюлюстѣ всегда замечалась такая чистая сек-
 тантская нетерпимость въ отношеніи къ чуждымъ мнѣніямъ и
 къ отличному отъ его собственнаго образу жизни. Пюлюсто уже
 свойство добра. Кто не за него-тотъ противъ него. И всенный че-
 ловекъ, признавшій суверенность добра принужденъ уже гнѣвить сво-
 ихъ ближнихъ на хорошихъ и дурныхъ т.е. на друзей и враговъ сво-
 ихъ. Правда, гр. Пюлюстой выражаетъ потопленную готовность
 простить человека и перевести его изъ разряда дурныхъ въ разрядъ
 хорошихъ — но подъ непримѣннымъ условіемъ раскаянія. „Признай-
 ся, что ты былъ неправъ, былъ дурнымъ, оживи по моему — и тогда я
 назову тебя хорошимъ. Иного способа примиренія нѣтъ. Больше
 того — безъ этого условія объявляется вражда на вѣки. Вражда,
 конечно, не въ обыкновенномъ смыслѣ. Гр. Пюлюстой не ударитъ,
 не поведетъ подъ негасъ своего противника. Наоборотъ да-
 же, онъ поставитъ другую цену, когда его ударятъ въ одну,
 онъ приметъ и обиду и горе — и тѣмъ больше будетъ говорить,
 чѣмъ больше нужно будетъ отъ него. Иного только не отъ него —

своего права на добро. При всякомъ помыслѣ о томъ пра-
во гр. Плоскойъ проявляетъ такую-же ясность, такую проявля-
етъ у Шекспира Генрихъ V, когда дело идетъ о славе. Оба они -
и гр. Плоскойъ и Генрихъ V считаютъ, что въ данномъ случаѣ
ясность - не порокъ и не только не можетъ быть поставлена
въ упрекъ, а прямо таки должна быть вменена въ достоинство
человѣку. Съ англійскаго короля, конечно, спрашиваютъ нечего, но,
когда гр. Плоскойъ проявляетъ такую готовность защищать
свое благо, то и средневековой рыцарь, - это наводитъ уже
на серьезные размышленія. На нравственность, то добро, кото-
рое, какъ мы всегда думали, есть въ области соревнования
эгоизма, оказывается вдругъ такимъ же человѣческимъ, неот-
чуждаемымъ благомъ, какъ и все друтое, чисто извѣстныя благо -
какъ слава, власть, богатство и т. д. Изъ за добра ^{только} возможны
неумолимая борьба - только при посредствѣ иного оружія.
Вся жизнь гр. Плоскаго состоитъ тому примѣромъ; все про-
поборство - служитъ тому доказательствомъ. Въ помыс-
лѣхъ своихъ произведеній - "что такое искусство", гр. Плоскойъ
уже сорокѣтъ лѣтъ и тѣмъ етарше ~~вѣнчанный~~ вѣнчанъ въ борь-
бу за свое право съ чуждыми поколѣніями людей. И какъ эта
борьба вдохновляетъ его! Книжка эта, вся задача которой
сводится не тому, чтобы заявить людямъ: въ безнравственности,
а въ нравственности т. е. высшемъ благо за мной, а не за вами -

написана съ мастерствомъ, подобнаго которому вы не найдете
 въ современной не только русской, но и европейской литера-
 турѣ. Не смотря на свой вѣтхине спокойный, почти эпическій
 тонъ, страстное возбужденіе и исцодованіе, направлявшіи собою
 перо г-на Толстаго, слишкомъ чувствуются - даже и тамъ, кото-
 рые не очне интересуются истинными творчествомъ этого зо-
 лотопольнаго писателя. Бранимыя слова, въ которыхъ обанко-
 бенно выражается человѣческій инстинктъ и слѣдъ. Г-н.
 Толстой издѣлаетъ даже откровенную насмѣшку. Все его
 оружіе - это тонкая проія, и затѣмъ нѣсколько на видъ
 безобидныхъ эпитетовъ - „гурной“, „безнравственной“, „испор-
 ченной“ и т.п. Слово „наглость“ употреблено всего одинъ разъ -
 въ примѣненіи къ Китице. Кажется же, такими нѣтъ
 ничего и сдѣлать нельзя, особенно въ наше время, когда сло-
 во „безнравственной“, побидилому, уже давно потеряло своего
 прежняго остроту, а противоположное ему слово „добродѣ-
 тельный“, которыми г-н. Толстой не боится пользоваться для обо-
 значенія своего и своего, считается почти синонимомъ
 комическимъ. И тѣмъ не менее - что можно сдѣлать
 талантъ! „что такое искусство“ является образцомъ по-
 лемической литературы. Сильнее сказать то, что сказалъ
 г-н. Толстой - невозможно, даже и въ тѣхъ условіяхъ христианскаго
 самооборона, въ которыхъ онъ добровольно себя поставилъ. Я пишу

Боно убеждены, что огромное большинство читателей, особенно
русских, — как бы далеки они ни были от идеалов г-р. Тол-
стого и как бы мало они ни были расположены отказываться
от своих преимуществ привилегированного класса, — с не-
отъемлемым наслаждением прочли его новое произведение и даже
нашли, что „в сущности“ оно совершенно право. Правда, и
на этот раз, как и в прошлые разы было, что „добра“ не-
много не подвинулось вперед. Даже, если угодно, еще ухудши-
лось. Ибо, между многочисленными читателями толстовской
литературы, наслаждающимися художественными талан-
тами великого мастера, есть и такие, которые на самом деле
хотят учиться чему-нибудь и исправить свою
жизнь. И на собственном опыте слова г-р. Толстого упода-
ют своим, или и без того несладкая жизнь совершенно от-
ражается прозой и нападки на печальную судьбу. „Да, мы понима-
ем, о чем говорится и все берем к сведению, но что же
взаливать и возвращаем“ повторяют они слова читателя, не
сходясь, конечно, ни на что. Они идут в черевку,
куда зовут или г-р. Толстой и возвращаются оттуда со
своими запасами чужих слов, ибо там они ничего или
почти ничего не могли схватить по той причине, что
была выработана для них в „Исповеди“ Толстого. От них тре-
бовалось, чтобы они жили среди мушкетеров и по-крестовски;

Они, конечно, не могли этого сглотать и ушли назад в город
больные, обезумевшие, измученные, с тяжким сознанием про-
мадности испытывающего за ними гонимого. Тот, который и вливал
или по крайней мере должен был вливать в виду опроки-
нутых своих рогатых пр. Плотой, и ушел не один, читая
его произведения. Наоборот они с удовольствием пережили
васи сто новелл и т.д., как образцы душевной и телесной ли-
тературы, как вы читали Евангелие, пророков. Я знаю
одного грабщика и миллионера, отдававшего свои деньги на
проект и считавшего себя толстокожим. И этот слу-
чай не исключение. Наоборот, ^{он} ~~в~~ ^{он} только выражает собой
отношение читающей публики к проповеди. Да что говорить!

Вряд ли пр. Плотой не от своего имени проповедует. Он лишь
повторяет на современном языке то, ^{чему} ~~что~~ тысячи лет тому на-
зад учили пророки и апостолы; но, если европейские народы, столько сто-
явшей подражатель признававшие Библию своей священной книгой, не испол-
нили ее заветов, то как пр. Плотой мог серьезно надеяться, что
его слово сглотает больше, чем слово его учителей? Очевидно это обни-
щание „что будет скоро“, как и все падеж его проповеди отно-
сился не к действительной борьбе со злом и неправдой, а к соб-
ственному, истинно личному заглажию. Ему нужно было не вникать
сглотать что-нибудь, не другим помочь, а если найти грех, удовле-
творения, который он не нашел в своих аждажественных трудах.

Война и миръ носившая печать полной законченности и умиротво-
рения, сменилась „Анной Карениной“ „Анна Каренина“ в свою очередь
назавшаяся произведением циничною и самоудовлетворенною душою
сменилась проповедью нравственности. Концы-ли это? Кто может
предсказать? Может быть у г-р. Толстого еще разъ хватитъ силъ
и мудрости сказать то, чему онъ теперь поклоняется и возвеститъ
новое слово? Теперь онъ отвергаетъ свою прежнюю художественную
грядательность, которой онъ съ такою неукротимостью и страстью
предвсказывалъ когда-то. Она ~~книжка~~ для него не книжка, она книга и
судила. Но проповедь, на которую онъ теперь разсчитываетъ, суди-
ла ли больше? И тогда - какою критеріею человеческой грядатель-
ности выставитъ г-р. Толстой тогда? Теперь онъ отвергаетъ все ко-
нечество, и свое, и не свое на томъ основаніи, что оно не нужно ма-
ссы. Но, если и проповедь это не обличаетъ положеніи массъ, то, сего ду-
мательно и ее нужно отвергнуть? Но, въ отношеніи къ проповеди
г-р. Толстой, побдиному, не признаетъ - теперь по крайней мѣрѣ
того масштаба, который онъ измѣряетъ достоинство всякой
чуждой родовой литературы. Проповедь хороша сама по себѣ, не-
зависимо отъ результатовъ, ею приносимыхъ. Есть возможность и
вечное нечестіе сдѣлать въ этомъ смысле циничнымъ. Для этого нуж-
но ему поставить такую задачу, которая поставитъ себя пропо-
ведь. Художникъ, который хочетъ имѣть право называться такимъ
потѣхнымъ именемъ, долженъ въ своихъ произведеніяхъ подчиняться

двумя условиями: во первых писать так, чтобы все правильно по-
 ниимали его, а во вторых — ^{не обманывая, что это занимает} говорить ^{или} о таких вещах, ко-
 торые возбуждают в людях добрые чувства. В этой точке зрения
 г-н. Пюстой осуждает все современное искусство, начиная с субъекти-
 вных произведений и кончая Шекспиром, Данте, Гете — не говоря уже
 о менее видных и особенно более новых писателях, для ^{осуждения} которых
 он в своем кратком репертуаре добродетельно — браво! — слова не
 находит достаточно сильных выражений. Исключение он делает
 лишь для некоторых произведений некоторых писателей. В этом
 ограниченном списке достойных внимания слова любознательно ви-
 димы Достоевский — того самого Достоевского, которого и Кипке
 называл своим учителем. Собственно говоря, Достоевский не
 удовлетворяет всеобщему условию, предъявляемому г-н. Пюстой
 к писателям. Мужики его не поймут, ибо он для них на-
 столько же учен, как и Шекспир. Любопытному, г-н. Пюстой си-
 тает, что за то Достоевский больше, чем какой бы то ни бы-
 ло другой писатель, удовлетворяет второму условию: он учит
 добру. В этом отношении г-н. Пюстой вполне прав. Досто-
 евский точно во всем своих сочинениях (не считая, кстати, особен-
 но рекомендуемых г-н. Пюстай, „записок из мертвого дома“)
 никогда не забывает учить добру. Но, чем же он тогда мог бы
 снискать себе расположение Фридриха Кипке, для которого добро
 было приблизительно только-то, чем и являлась Гетевская Претхен?

Но зато — за что? Ничего и пр. Полнотой жизни Достоевская — значуще
найти нечто не обмелен и не столь противуположно, ~~как~~
но видя, философия. Поэтому, мы остановились на одном из самых
характерных и наиболее прославившихся произведений Достоевского
и преступлений и наказаний.

Параллельно VI. 21 пр.
177 стр.

Основная идея "преступлений и наказаний" почти уже высказана в самом
названии романа. Сущность ее в том, что нарушения "правила" не
в каком случае дозволено быть не может — даже тогда, когда человек
решительно не понимает, для какой надобности это правило придумано.
Раскольников, бедный студент, решает убить уже почти неживую
старуху, чтобы добыть средства для устроения своей жизни. Расколони-
ков человек даровитый, талантливый, полный жизни и желаний найти
себе соответствующую своим силам деятельность. Все мучающее его
по душе и самому Достоевскому, которого не было, как у пр. Полного,
убеждения, что всякого рода интеллектуальный труд — безразличен.
Наоборот, если бы случайно Раскольников получил дозволенные зако-
ном способы и нужная ему для занятия средства, Достоевский благо-
говил бы все это плану. Но эти средства дозволенными способами дос-
таточны невозможно. Нужно выбирать одно из двух: или отказаться
от своего будущего и погубить жизнь за черной, бесперспективной работой,
в борьбе из за куса хлеба иная или откратить себя путь к на-
стоящей (по мнению Достоевского "настоящей") жизни при посредстве

преступлений, убийства. Первая половина романа наполнена размышлениями Раскольникова, борющегося против живущего в нем предположения о невозможности убийства. С одной стороны внутренний голос говорит ему: нельзя убивать; с другой стороны тысячи соображений являются к нему в доказательство того, что этого голоса слушать не надо, что убить — можно. В отыскании этих соображений Раскольников (т.е. Достоевский) не изощряется, это и называется „психологией преступника“, потому роман обязан своей славой. Основная, впрочем, тема одна: убийство безчисленное количество раз совершалось людьми — и безнаказанно. Все дело не в том, что „нельзя“ убивать, размышляет Раскольников, — но что это „нельзя“ касается только маленьких, слабых людей. Большие — все и сильные люди не боятся этого громадного препятствия и, когда оно задерживает их в каком-нибудь измышлении, — слетают с его с пути. Пример — Наполеон. Из такого духа написана была Раскольникована и статья для журнала. Приблизительно, эти же соображения заставляют его рождаться и на убийство. Я не знаю, можно ли говорить, что Раскольников — фактически убийца и что при его настроении совершит убийство — этого невозможно. Лично кажется, что и сам Достоевский не стал бы этого отрицать. И в этом именно весь интерес романа. Настоящий убийца и тот способ, которым он преодолевает заповедь „не убий“ — Достоевского совсем не занимают. Оттого-то и эскапада для Раскольникова подобрана такая: получившая старуха, со дня на день

готовящаяся отдача Богу душу. Это именно и нужно было Достоевскому.
Внестранился поставить своего героя в такое положение, при котором
его преступление — будет преступлением только с формальной стороны. Мне
кажется, что если-бы он мог, не запутывая слишком романа, так бы
и так, чтобы Раскольников ударил топором старуху уже после того
как она умерла раньше естественной смертью, он бы это сделал
и потому все таки заставил бы Раскольника угрожать, отдать себя
в руки правосудия, пойти в тюрьму и т.д. Перед Достоевскими воп-
росы стали так: что прав, что лучше — то-ли, которое (как он
сам, Достоевский) держится правила, смысле которого имел непонимание
или то, которое по тем или иным побуждениям охватываются ка-
рущая это правило. Ответом и является вторая часть „преступления
и наказания“, в которой Раскольников смиряется — и не в силу того,
что ему сама собой жертва (жертва, отъ жертвы не играют ника-
кой роли в романе и для Достоевского, как и для Раскольникова
имеют только внешнее значение призрака, тень, давшие которой че-
ловек не должен идти), а потому, что он постиг, что нельзя
преступить правило. Достоевский приводит Раскольника к этому
сознанию, Достоевский придумывает для него самую ужасную пытку.
Жестокость пытки! Но откуда пришла из него эта жестокость?
Разве Достоевский иначе создал, только весь мир? Зорко та-ли и
тория, что и у гр. Толстого — только на иной манере. Раскольников
никак (фрагментического, никогда не существовавшего убийцу — пов-

торую это) нужно заставить покориться правилу, чтобы изъ покорности
 правилу создать свою добродетель. Достоевский, как и гр. Ролетой,
 готовъ подставить цену ближнему, — но добродетели свои, своего права
 на добродетель — не только не уступитъ, но отниметъ у ближнего. И
 въ борьбѣ за это право — онъ не уклонится. Дада наоборотъ — чѣмъ больше
 онъ можетъ проявить жестокость, чѣмъ сильнее можетъ наказать онъ
 свою жертву, тѣмъ больше его торжество. Но и этого ему мало; онъ не
 доволенъ тѣмъ, что ищетъ жертву — онъ требуетъ у нея при-
 каніе въ ея неправотѣ, въ ея виновности, преступности. Приведу кѣс-
 нельно словъ, въ которыхъ вылитъ весь Достоевский. „Странно было ви-
 деть, какъ въ этой маленькой комнаткѣ сошлись за чтеніемъ вѣс-
 ной книги убійца и распутища? Убійца — Раскольниковъ, распутища
 Соня. Зачѣмъ понадобилось Достоевскому, не выпустившему изъ рукъ
 Евангеліа — и съ митъ этими ужасными именами изолодавшалого
 студента — и сохранившаго своимъ попордѣмъ семью Соню? Это онъ въ Еван-
 геліи прочелъ? Жанъ онъ читалъ Евангеліе? Нѣтъ, ему нужно было
 инос — Ему нужны были для себя особые права и привилегіи, ему,
 подпольному чловѣку, не уступающему ^{не} (посторонитѣся при вступленіи въ оури-
 церомъ и тѣснѣю надгробившемуся презойти въ великій Каполлона-
 монъ ставилъ себя въ защиту свою готовность не преступать правилъ
 свою нравственность, которую онъ придумалъ въ догмѣ, божественныя ноты,
 проведенныя въ борьбѣ съ соблазнами неоступной ему силѣ. Въ резуль-
 татѣ — „психологія“, двѣ психологіи даеся. Съ одной стороны первая

часть "преступления и наказания", в которой Раскольников, за одно
своими творцами, признает свою неспособность к преступлению
слабостью; с другой стороны - вторая часть, где Достоевский уже
одних, без Раскольникова, находит для себя в готовности ос-
таться правдивыми новой эпохи, источниками славы и торжества.
И тогда только, когда солженицын в своей слабости поддается, до-
стоевский начинает торжествовать победу правды над Расколь-
никовым, имея свою собственную победу. И, чем больше унижение,
опозорение, уничтожение Раскольникова - тем больше растет у до-
стоевского. Под конец, когда Раскольников, уже именованный всеми,
не только юридическим, но и нравственным правящим состоянием, на-
стает в совершенном, Достоевский дарует ему душевную мир, под
условием, что все оставшееся ему дни он проведет в неторопе, на-
капывая, не сменяющей наравняя на залоге части "убийца"
в обществе, "распутница" Соня, также именуемой добротой гра-
ми ~~на~~ ксастии своей молодости. "Жестоким талантом" терпе-
ливым. Поначалу теперь, почему и китше ир. Простой при-
ли поклониться ему. Китше близки дали подпольная разрыве-
ний первой части "преступления и наказания". Он и сам, с тем же
пером, как заболел безнадежно, лишь видя мир и лютей только
из своего подполья и размышлениями о силе жалованья настоящего
силу. Он простил в итоге Достоевскому вторую часть - наказание
за первую - преступление. Гр. Простой - обратно: за вторую часть -

простили первую. Ибо та „психология“, которая грозит погортать
 обязательность правила на верность не подуми пр. Толстой. Это
 все „испорченность“, „развращенность“, это все „накопленные ищи“,
 придуманные „праздной и культурной точкой“ / все слова пр. Толстого.
 если собрать или вынести сюда ли от них повесть смиренного, да
 и откровенно взятого, особенно в том же количестве, которое допустить
 в последней своей книге пр. Толстой (они достаточно говорят о „ро-
 тости“ знаменитого писателя) — за это похвалить нельзя. Но Рас-
 колнников. Был наказан, у Расколнникова было исторично при-
 казие вина, прощание ему было дано под условием жизни в доброй
 разв. Этого недостаточно, чтобы заставить право на звание наро-
 да учителя?

Марковичу, 20 век

Здесь я позволю себе небольшое отступление, которое, ввиду зада-
 чи поставленной статьи, вероятно окажется не лишним. Я хочу
 сравнить мирозерцание Шекспира, того самого Шекспира, кото-
 рого не признает пр. Толстой, с мирозерцанием Достоевского.
 Сравнить не во всем объеме — а только в главном: в их пони-
 мании зла и преступления. У Достоевского есть Расколнников,
 у Шекспира — Макбет. Судите — то искусственны. И оба писателя —
 христиане. Только Шекспир никогда не ставит на вид этого
 обстоятельства, Достоевский же сглотнул из этого свое литератур-
 ное *proffession de foi*.

Больше всего поражают при сравнении „Макбета“ с „преступ-

лением и наказанием отношении их авторов мы терять убийства
 у Достоевского об убийства женщины не играют никакой роли. Он же, по
 утверждению это обстоятельство, оставил ~~их~~ их жить или воскресить
 бы, если бы мог - до такой степени факт их смерти безразличен
 для него. Он введен в роман лишь потому, что нужен не как ка-
 кой-нибудь объект для Раскольникова. Но смысл и значение преступлений,
 с точки зрения Достоевского, не в том, какое зло совершил Раскольников
 своими жертвами, а в том, какое зло совершил он своей душой. В этом
 отношении и автор и герой „преступления и наказания“ думают и чув-
 ствуют совершенно одинаково. Достоевский почти не говорит ни о
 старухе, ни о девочке - хотя говорит о том, что никакого отноше-
 ния к роману не имеют, хотя часто является лирическим до что-
 сительности, Раскольников же, в свою очередь почти не вспоминает об
 убийстве или, хотя фактически оно непрерывно рисует ему самые раз-
 нообразные ужасы. У Шекспира мы видим совсем иное. Макбет,
 действительно только и размышляет, что о своей душе. Для него
 все ужасы совершаемых им поступков сводятся только к личной
 ответственности. Он „погубил навеки свою душу“, он „не может
 молиться, не может произнести аминь, когда другие говорят
 „Господи помилуй“ - и это мучительное душевное состояние засти-
 лает перед ним весь остальной мир, всех людей. Он так глубоко
 погрузился в грех, что ему все равно не стоит возвращаться. Он
 чувствует, что отрывается от всего мира и видит во всех людях,

Л. 5м

Марк

Мюд. 51.

90

живых и мертвых, только врагов, ищущих погубить его душу. Но Шекспир смотрит на Ламбетта своими собственными глазами. Он и на минуту не забывает, что не только в душе и ее погубительную, когда речь идет о злое и преступлении. Наоборот, это только все эти клянутся ты несчастия, которые Ламбетт приносит окружающим его людям, сколько и психология преступной души. Вот в каких словах Россее описывает положение Шотландии:

Страна несчастная! Увы ей страшно
И ошанутся на себя! Для нас
Она не мать, а темная могила.
Улыбки только не встрыкивай на лица;
На стон и вопль, звучащий без умолку,
Кикто не обращает только внимания,
Печаль ставит за пошлос безумство.
При мрачном звуке похоронной лиры
Где-то кто вздумает спросить: по ком?
И люди мрут, сь болельню не знакомые,
Какъ вьнестъ сорваннай цвѣтокъ

Шекспир, дакъ, изображаетъ ужасную сцену избиения семьи Мандуффа. Какое страшное впечатление производит на читателя кромой ужаса Мандуффа, узнавшего о гибели своих малюток и жены. Кто не помнитъ обращенная къ Мандуффу слова Малакольма: Творецъ небесный!

Мандуфръ, не кадригой на дрови илану!

и затѣмъ, всащливаніе Макдугффа о Макбетъ то... злодѣй безгрѣшенъ.
Ничего подобнаго у Достоевскаго ^{не} (видимъ). Преступленіе его за-
интересовало, могло заинтересовать только съ одной стороны: со
стороны своего значенія для души преступника. Онъ подошелъ къ се-
бѣ Раскольникову, съ прямо противоположной стороны, чѣмъ
Шекспиръ къ Макбету. Это занимало вопросъ, какъ могутъ, какъ
смыслятъ дѣлать другіе люди то, чего онъ, Достоевскій, не можетъ, не
смыслятъ дѣлать. Оттого-то онъ и убійцу подобралъ такого, кото-
раго читалъ въ университетѣ, пишетъ статьи, не знаетъ сегодня,
что будетъ гостѣмъ и будетъ-ли вообще гостѣмъ завтра. Съ этимъ-
онъ зналъ заранее — психологія справится въ какомъ-то смысле
смысла. П.е. убійство навѣрное раздвинетъ и уникъ подвиговъ его: это
ли это дѣло? А выводъ получится такой: въ подвигѣхъ пра-
вилу вѣстной сущности жизни, Достоевскій правилу подчиняется, счи-
тательно — сущность за нимъ. У Шекспира нѣтъ и слова та-
кихъ настроеній. Для него преступленіе становится преступ-
леніемъ только въ силу того зла, которое онъ приписываетъ людямъ.
Дункану, Макдугффу, его дѣтямъ, всей Шотландіи. У него нѣтъ и
не можетъ быть вопроса о томъ, хорошо-ли самому стать убійцей
и не прибавитъ ли къ его собственному душевному величію то
добродѣтельное, что онъ убьетъ кого-нибудь. Больше того, если бы
онъ и убѣдился въ томъ, что убійство можетъ прибавить что-ни-
будь, даже очень много къ величію его души, — онъ все такъ же

убилъ бы. Если бы размышленія въявили ому, что такого правила
 „не убий“ — нѣтъ или что это правило для ничтожныхъ и малень-
 кихъ людей, а для большихъ, великихъ людей есть другое правило: „уби-
 вай“ — онъ все таки не убилъ бы. Убо, кроме расчетовъ вѣзды
 своей души, у него есть еще пониманіе счастья и несчастья другихъ
 людей — малютокъ Мандугора, короля дункана и т.д. Если бы предъ
 нимъ „убий“ возстало бы въ томъ всеоружіи грозной повелитель-
 ности, въ какомъ предъ Макбетомъ и Раскольниковомъ встало
 „не убий“ — онъ все таки не убилъ бы. Для Достоевскаго, очевидно,
 Шекспировское отношеніе къ преступленію было совершенно недог-
 тупнымъ. У него все вопросъ сводился лишь къ тому, какое пра-
 вило лучше вооружено — „убий“ или „не убий“. Но и въ этомъ воп-
 росѣ онъ не былъ безпристрастнымъ судьей. Онъ всю силу своего
 громаднаго таланта направилъ на поддержаніе претія „не
 убий“ главнымъ образомъ потому, что онъ все равно не могъ быть
 Наполеономъ. Оттого — то онъ и думаетъ своего Раскольникова,
 оттого — то онъ его отпускаетъ только подъ условіемъ признанія
 „своей вины.“ У Шекспира нѣтъ и слѣда такого отношенія къ Мак-
 бету. Едва ли нужно говорить, что краснѣ у Шекспира для изо-
 браженія мукъ угрозенія совѣсти у преступника много болѣе
 чѣмъ у Достоевскаго, что въ коротенькомъ „Макбетъ“ больше
 и ярче обрисовано настроеніе и терзаніе героя, чѣмъ въ длин-
 номъ „преступленіи и наказаніи“. Вспомните хоть эти слова

несчастнаго убійца:

По поводу замка

Неутолково посылся вопио:

„Где мисль зарылась соня, за то отнбеситъ

Небудеть спать его убійца, Навздоръ,

Небудеть спать его убійца, Мамбетъ.

Отъ этого и подобныя восклицаній Мамбета встѣ и стѣи-
но средневѣковомъ ужасомъ прѣдъ неизбѣжностью страшнаго
суда. Шекспиръ понималъ и умѣлъ обрисовывать самъя чуждо-
нныя трагическія настроенія, не дѣлая ни малѣйшаго на пря-
женія, не прибѣгая къ искусственнымъ прѣмамъ, не вполнѣ-
вомъ думу у читателя вълѣблѣ повтореніемъ мучительныхъ
длиннотъ. И, тѣмъ не менѣе, какая разница между Шекспиромъ
и Достоевскимъ и зорь въ изображеніи психологіи убійца! Шек-
спиръ не только не ищетъ „погубить“ душу Мамбета, не толь-
ко не хочетъ раздавить, уничтожить своимъ красноречіемъ
и безъ того уже уничтоженнаго и раздавленнаго человека, но,
наоборотъ, онъ все, что можно на сторонѣ Мамбета — и безъ
всякихъ условій, ограниченій и требованій, безъ которыхъ До-
стоевскій и все почитатели „добра“ ни за что не отпустятъ
своихъ преступниковъ. И Шекспиръ ни на мигъ не боится,
что такіе отношенія онъ покажетъ убійцѣ или поощря-
етъ убійство. И, еще менѣе ~~менѣе~~ думаетъ о томъ, что со-

нравственное величие потерять, если за Макбетом останутся
 человеческие права, если преступники будут считать за думать
 о себе, о своем спасении, а не о покаянии; у Шекспира, по
 мере развития трагедии, Макбет не только не уступает,
 не склоняет повинной голову перед добродетельным автором,
 - но, наоборот, все больше и больше ожесточается, с того
 момента, когда он понял или вообразил себе, что внут-
 ренний судья ни за что не простит ему „одного удара“. И
 это ожесточение не вызывает у Шекспира вражда к монар-
 ху, оно кажется почти естественной, справедливой реак-
 цией против безмерной притязательности „капитулистского
 императора“, осмеливающегося предавать своей властью
 человека за „один удар“. Для Шекспира Макбет не пе-
 рестает быть человеком, близким по роковому собо-
 тству и, не смотря на то, что Шотландия обращена озве-
 ревшими королями в темную могилу, не смотря на то, что
 тысячи жертв вопиют к небу о справедливости, Шекспир
 не считает ни нужным, ни возможным заставить
 самого Макбета признать постигшую его кару законной.
 Только безжалостные преследуют Макбета фантасти-
 ческие призраки, только энергичные он готовится к отпору
 и пока есть у него физическая сила - он не смирится. К сожа-
 лению говорит о том, насколько психологически Шекспир пра-

въ Достоевскаго? Ибо какъ бы ужасно не было прощание
вѣра, какъ бы онъ не раскаивался въ своихъ грѣхахъ — никогда
онъ, въ глубинѣ своей души, не признаетъ, не ожидаетъ при-
знатъ себя справедливо отверженнымъ людьми и Богомъ. Но-
нечно, передъ необходимыми внутренними и внѣшними при-
читаніями ~~человѣкъ~~ ^{Достоевскій} каждой въ концѣ концовъ смиряется.
Но никто не признаетъ и не признаетъ, что вѣрное осужде-
ніе справедливо, что все права его потеряно, что онъ за-
виситъ отъ милости и великодушія другихъ людей, сома-
тающихся на извѣстныхъ условіяхъ даровать ему про-
щенье. Битая иная борьба Манбета съ живыми и мер-
твыми вратами случается безпородной иллюстраціей это-
го. Не всякій будетъ столь какъ Манбетъ, не всякій рѣ-
шится до конца поступать и говорить по своему, отъ
своего имени. Обыкновенный, средний человѣкъ, при подоб-
ныхъ обстоятельствахъ сдается: онъ признаетъ, что трав-
ля категорическая императивна законна, что онъ факти-
чески заслуживаетъ какого угодно вѣрнаго осужде-
нія. Но это — притворство, ложь, посредство въ которой онъ
ищетъ избѣжать именно той участи, которой онъ на
словахъ признаетъ себя достойнымъ. Въ выборѣ сюжета
сказались черты обоихъ художниковъ. Менширъ закнѣ-
ревался непокорившимся и фактически ужаснымъ

Злодеем) — Достоевский — покорившийся и безобидный и
убийцей. Шекспир же не оправдывает человека, Достоевский
обвиняет. Кто из них истинный христианин? И до какой
степени по своей идее (я уже не говорю о выполнении)
„преступление и наказание“ уступают „Макбету“? Между
этими двумя художественными произведениями, помимо сте-
пени дарования или творцов, существенная разница в ос-
новных задачах. У Достоевского — на первый план выдвигает-
ся проповедь. У Шекспира — вопрос чисто философского
характера. Достоевскому нужно внушить людям, что
можно считать „добро“ и „зло“, что они сами делают
„добро“ и потому — очень достойный человек, а другие слу-
шают „зло“ и недостойные люди. У Шекспира вопрос о
личном достоинстве в стороне. Перед ним — ужасное
явление: преступление. Ужасное вдвойне: потому что нека-
ккая, которая оно приносит людям и по всякому
проклятию, которому подвергается преступник. ~~Шекспир~~
~~не понимает~~. Ему нужно понять, объяснить себе, что это значит:
действительно — или наши представления о сущности преступной ду-
ши правильны. Он не хочет великодушно поступить со своим
злодеем — даровать ему прощение в доказательство собственной
нравственной высоты. Он добивается найти право Макбета и
потому не отнимает у него сил для борьбы. Прочитавши „прес-

тупленіе и наказаніе, ⁴ что въ высочайше впечатлительное, остается подъ
мучительнымъ впечатлѣніемъ, что слышали проповѣдь безгрѣшного
праведника, на правленную противъ грѣшника мѣтара. Прочи-
тавши „Макбетъ“ — въ которомъ автора намъ будто и нѣтъ —
въ высочайше убѣжденіе, что нѣтъ такой силы, которая могла, хотѣ-
ла бы уничтожить человека. Говоря словами Евангелія: „нѣтъ воли
вашего Отца небеснаго, чтобы погибъ одинъ изъ малыхъ сихъ.“

Болѣе подробно останавливаться на Шенкель и Достоевскомъ про-
рачна настоящая статья не дозволяетъ. Но и приведеннаго, надеется,
достаточно для того, чтобы выказать, въ чемъ существенная разница
между философией и проповѣдью, и кому нужна проповѣдь, кому
философия.

VII

У насъ для обозначенія происходящаго въ творчествѣ гр. Толстого пере-
мѣны говорятъ, что онъ отъ художественной дѣятельности перешелъ
къ философіи; въ этомъ очень жалуютъ, ибо предполагается, что гр. Тол-
стой, будучи отличнымъ, гениальнымъ художникомъ, — какъ масленица, фило-
софъ — очень плохъ. Доказательствомъ, и, повидимому, очень рѣшитель-
нымъ въ пользу такого предположенія, является послѣдствіе изъ „войны
и миру“. Оно написано неясно, запутано. Гр. Толстой все толчется
на одномъ мѣстѣ среди неимѣющихъ значенія общихъ фразъ. Это, пона-
чуй, справедливо. Послѣдствіе написано нехорошо. Но „война и миръ“?
Развѣ „война и миръ“ не истинно философское произведеніе, написан-

ное величить ауройлиномъ? Развѣ постыловіе не есть только плохо
сдѣланная планъ къ чудесному зданію? Какими же образомъ можно слу-
жить, что архитекторъ, проявившій столько искусства при возведеніи
постройки, не могъ нарисовать ея плана? Побидиному, не въ архитек-
торъ дело, а въ самой задачи. Побидиному, постыловіе плохо не
оттого, что гр. Пюстой не влагаетъ циркулемъ и линейкой, а оттого,
что циркуль и линейка не пригодны для выполненія задачи. Отнаве-
ч себя право пользоваться краемъ, гр. Пюстой этикъ самъ себѣ об-
речь себя на производительную работу, ибо смыслъ всей философіи
"войны и мира" въ томъ и заключается, что человеческая жизнь
находится за пределами, поставленными нами всего совокупности
или ющихъ въ языкъ отвлеченныхъ словъ. Несомненно, что планъ
гр. Пюстай пояснѣтъ "войну и миръ" посредствомъ добавочныхъ рассу-
дений, ноша только испортитъ дело. Онъ въ первой части своего
эпистола закончилъ все, что имѣлъ сказать; всю его философію въ кетъ-
рехъ томъ этого романа выключась съ такой ясностью и полнотой,
дальше которыхъ онъ не могъ уже идти. Князь Андрей, Пьеръ, На-
таша, старикъ Болыновскій, княжна Марья, Ростовъ, Беръ, Долоховъ,
Караѣевъ, Кутузовъ - всѣхъ не ~~перечислить~~^{перечислить} - развѣ они намъ не
разсказали все, что видѣть и какъ жить въ жизни гр. Пюстой?
Развѣ пребываніе въ лѣтнюю Пѣра, ^{старая} ~~интересная~~ прозорливость
Кутузова, трагическая смерть князя Андрея, огорченія и радости На-
таши, разнѣяція Караѣева, стойкость русскихъ солдатъ, непри-

тѣмъ затѣмъ, тихое героичество безъ стѣнныхъ офицеровъ, оставленіе массо-
вое бѣгство жителей изъ городовъ — разбѣ все это, съ такой закончен-
ностью и яркостью изображенное г-омъ Толстымъ не включаетъ въ себя
вопросы "освободы воли, о Боге, нравственности, историческихъ зако-
нахъ"? Не только включаетъ, само собою разумѣется, — но болѣе того, обо
всѣхъ этихъ нельзя иначе говорить, какъ въ формѣ художественнаго
произведенія. Всякій другой способъ обязательно поведетъ къ тому, об-
разцы чего является послѣдовіе. Въ особенности у художника
т.е. у человека, который знаетъ, какъ много нужно сказать и чув-
ствуетъ, какъ мало говорить можно. Поэтому онъ все повторяетъ
еще разъ и еще разъ на различныхъ ладахъ повторитъ уже сказанное,
ничего конечно, великитъ не можетъ и приводитъ какъ къ сознанию,
что онъ не философъ. Но, это, конечно, наше заблужденіе. Г-нъ Толстой
въ "войнѣ и мирѣ" — философъ въ лучшемъ и благороднѣйшемъ
смыслѣ этого слова, ибо онъ говоритъ о жизни, изображаетъ жизнь
ею въ наиболѣе загадочныхъ и таинственныхъ сторонахъ ея. Если
послѣдовіе ему не удалось — то только потому, что онъ искалъ по-
длиннѣе. Любимъ критикъ написать безъ лучшей заключеніе
въ "войнѣ и мирѣ", что самъ г-нъ Толстой, и въ критикѣ, не чув-
ствуя такъ, какъ самъ художникъ, всей широты задачи, держался
бы въ предѣлахъ обычныхъ представленій и потому достигъ бы
известной, очень относительной, логической закрученности и за-
конченности, которая удовлетворила бы читателей. Но это зна-

было бы, что критик не лучший, а худший философ, чем г-р. Толстой, что он не чувствует потребности передать все свое впечатление от жизни и потому превосходно владеет циркулем и линейкой, доволен своей работой и удовлетворяет своих читателей. — Сказать про г-ра Толстого, что он не философ — значит отнять у философии одного из виднейших ее деятелей. Наоборот, философия должна считаться с г-ром Толстым, как с крупной величиной, хотя его произведения и не имеют формы трактатов и не приближаются к канонам будущей из существующих школ. Как было уже указано выше, вся творческая деятельность его была вызвана потребностью понять жизнь т. е. той именно потребностью, которая вызвала и существование философии. Правда, он не касается некоторых теоретических вопросов, которые мы привыкли встречать у профессиональных философов. Он не говорит о пространстве и времени, материализме и дуализме, о теории познания вообще. Но не этим определяется право называться философом. Все эти вопросы должны быть вынесены в самостоятельные дисциплины, служащие лишь основанием для философии. Собственно же философия должна начинаться там, где возникают вопросы о смысле и значении человека в мире, о его правах и роли во вселенной и т. д. т. е. именно те вопросы, которые посвящены „Война и мир“. „Война и мир“ — истинно философское произведение; в ней г-р Толстой вопрошает природу за каждого человека, в ней

преобладает еще томеровская или мексиканская „наивность“ т. е.
нежелание возмущать людей за добро и зло, сознание, что от-
ветственность за человеческую жизнь нужно искать вонь
насе. Однако в отношении к Наполеону не выдержаны облича-
ющие, характеризующие „войну и мир“. Наполеон для гр. Тол-
стого с начала до конца остается врагом - и врагом, прав-
ственно виноватым. И не за те бедствия, которые он при-
чинил ^{России} (Европе: это ему прощается). Гр. Толстой возмущается
только притязательностью императора, его уверенностью, что он
в течение 15 лет держал историю. „Человеческое достоинство
говорит мне, что всякий из нас если не больше, то никак
не меньше, человек, чем всякий Наполеон“ следовательно не
может быть, чтобы он вершил судьба народов. Он сам
„только ничтожный еще орудие в руках судьбы“. Уже в 1856 г.
гр. Толстой не может примириться за ее постоянное житие:
в то время постыли, ни себя, ни другим неужелые люди сму-
щали его бесчеловечными своим существованием. Но зато
он никого не хочет и не находит нужным винить. Когда
Наташа говорит Беру, что она сама бы только пережить все
сначала (смерть князя Андрея) и „больше ничего“, Беру ее оскарлив
перебивает ее: „не правда, не правда, зациканы вы. Я не ви-
жу, что я живу и почему живу; и все такое“. Потом тогда
разрешают гр. Толстой на вразумительные вопросы советники, эти

Всѣмъ
181

36

всѣмъ, вѣнчать, "которые загораливали путь его лучшими го-
родами. "Я живу и хочу жить" было тогда отъѣздомъ, предъно-
торамъ смирившимся дойти такой щепотливой затрудненіи, какъ
то, что Катя была невестой не друга Пера, и что этотъ
другъ умеръ всего нѣсколько мѣсяцевъ назадъ на ее рукахъ. И вѣ-
рный, кто живъ - какъ бы онъ ни жилъ, гласъ безнравственно, пош-
ло, грубо не возмущая поговорокъ ур. Толстого. Къ Серу, дружеско-
му, князю Василию-виѣ относится въ добродушной, веселой настойчи-
вой; къ злодѣю Долохову и крѣпостнику старику Болконскому -
съ уваженіемъ; къ Деню - какъ къ зверю анімал и почти такъ
же къ ел, во всемъ на нее похожому, брату, Дмитрию. Все живо
живетъ по своему и имѣетъ право на жизнь. Одни - лучше, други-
е хуже; одни маленькіе, други - крупнее люди: но клянитъ, отлу-
чатъ отъ Бога никого не нужно. Спорить нужно только съ не-
полнонами, желая и имъ отнять у насъ человѣка съ достоинствомъ,
да съ Сонями, такъ неудачно втирающимися своими безре-
зультатными добродѣтелями въ богатую и полную жизнь.
Съ какой любовью описываетъ ур. Толстой своего Кирилла Рос-
това! Я не знаю другаго романа, где бы столь безнадежно сред-
ній человѣкъ былъ изображенъ въ столь потихоньку праскахъ.
Даже разбитый офицеромъ мундиръ камешъ мольца не ранитъ
его въ глаза ур. Толстого. Если бы теперь Кирилла попалъ подъ
руку ур. Толстому! Какое бы грозное обвиненіе произнесъ бы онъ.

Я уже не говорю о Нерсе и кн. Андрее. Они вдобавок не только,
что сами не работают, еще уличают и считают себя вы-
шшими людьми! Несомненно, гр. Толстому необходимо было от-
речься отъ своих прежних произведений, особенно отъ „войны и
мира“. Вопрос лишь въ томъ — возможно ли это, достаточно
ли признать свою прежнюю философию, прежнюю жизнь дурною,
чтобы навсегда порвать съ ней. Цылая жизнь не опровергается
несколькими книжками. Гр. Толстому никогда не разва-
заться со своим прошлым, так блестяще воплотившимся
въ его двух больших романах. Оно навсегда будет свиде-
тельством — и самым уничтожающим образом — противъ
него. Что-бы не стали они проповедывать теперь о „кравежен-
ном просветителѣ“ — онъ всегда будет слышать въ устахъ дружки
своей собственный голос, тридцать пять тому назадъ такъ
искренно и страстно восклицавший: „я не виноватъ, что живу
и хочу жить“, и что въ теперь, взявъ уже отъ жизни все то
хорошее, о чемъ въ такъ красноречиво рассказали намъ
въ „войну и миръ“ и ^{теперь} ~~тогда~~ ^{теперь} браться, можетъ быть такое
хорошего и для насъ необходимого, но очень чуждого, непонятного и
непонятного. „Гусейновъ? Соня — въ ее заботахъ?“
Иначе говоря, если бы 30 летъ тому назадъ гр. Толстому пред-
ставились его собственные позднейшие произведения — онъ бы тогда
отъ нихъ отказался, какъ теперь отказывается отъ „войны и мира“.

сейте

хотят и въ то время они всегда хлопотали о томъ, чтобы жить въ доброту. Отречение — противъ отречения. Которое изъ нихъ принять? И больше всего они отказались бы отъ своего, что такое искусство.

Мы уже сказали, что въ этой книге собственно искусству отведено второстепенное ~~мѣсто~~ ^{мѣсто}. Это уже видно по началу ея.

Др. Шопенхauer разсказываетъ о томъ, какъ ему однажды пришлось присутствовать на репетиции плохой оперы. По этому поводу онъ излагаетъ разсказы, сколько должна была стоить эта театральная затѣя. Вказываетъ, что очень дорого. Затѣмъ онъ сообщаетъ, что капельмейстеръ грубо бранилъ ~~ар~~ хористовъ и статистовъ, что хористки были неприлично обнажены, а танцовщицы дѣлали сдѣланнныя движенія. Вролнне расхоуа на постановку чужихъ произведений искусства и безобразное отношеніе старшихъ къ младшимъ, ^{бдправнать} (сотрудникамъ по обязанности) возводятся въ правило и представляются къ искусству вообще, какъ первый тяжелейшій и серьезный обвинительный пунктъ. Это могутъ отвѣтить на это составители драмы и симфоній? „Хорошо было бы, если бы художники все свое дѣло дѣлали сами, а то имъ всегдѣ нужна помощь рабочихъ не только для производства искусства, но и для ихъ, большей частью роскошнаго существованія, и, такъ или иначе, они получаютъ ее или въ видѣ платы отъ богатѣе людей.

или въ видъ субсидій отъ правительства, которая миллионы
идутъ или на театр, консерваторіи, академіи. Деньги-они
эти собираются съ народа, которая никогда не пользуется
тѣми истинными и наслажденіями, которая даетъ искусство.
Въ этомъ исключая точка зрѣнія г. Толстого: искусство сто-
итъ огромныхъ денегъ, деньги собираются съ народа, народъ-они
благими, приносимыми искусствомъ не пользуется. Сверхъ того,
подъ видомъ искусства намъ преподносятъ искусство ве-
личій лжесты и радостей, подобныя той оперѣ, на репетиціи
которой присутствовалъ г. Толстой, во имя искусства од-
ни люди оскорбляютъ челоѣческое достоинство другихъ. Воз-
никать вопросъ: действительно-ли искусство такое важ-
ное дѣло, чтобы изъ за него приносить подобныя жертва?
Не лучше-ли совсѣмъ отказаться отъ искусства, а затѣ-
чиваемыя на него силы и средства употребить на что-нибудь
другое- почти бы на народное образованіе, въ которомъ такъ
мало заботятся? Такъ поставленъ вопросъ г. Толстымъ.
Здѣла-ли кто нибудь изъ его читателей нечаялъ въ самомъ
началѣ книжки отвѣтъ. Народъ такъ дорого расплачивается за
искусство и не пользуется имъ. Развѣ можетъ быть сомнѣ-
ніе въ томъ, что такое посяженіе вещей аруды возмутительно
несправедливо? Богатыя люди, у которыхъ все есть идутъ въ бу-
дильни и отнимаютъ у нихъ ~~не~~ необходимую не только на об-

Сент

разованіе — но на пропитаніе средствъ, чтобы устроить театры,
концерты, выставки. Развѣ во время похода въ польскихъ городахъ
прекратились спектакли, развѣ богатѣе отказались отъ всенародныхъ
наслажденій, чтобы помочь несчастнымъ ближнимъ? Въспомните
Въ справедливости такого вопроса, очевидно, не можетъ быть
сомнѣній. Любопытно, однако, иное обстоятельство. Въ русской
литературѣ взгляды, подобный тому, который высказываетъ г.
Троцкий — не новы. Въ шестидесятыхъ годахъ такъ думали
и чувствовали все, которые называли себя „либералами и ре-
алистами“. Добролюбовъ во многихъ своихъ статьяхъ только
говорилъ, что о необходимости въ забыть, все задроситъ и со-
редоточитъ силъ общества и государства на поддержаніи
поряда въ лицѣ и невѣжество народа. Нужно было
разбить ^{оковы} (крѣпостное ^{аго} право, нужно было дать крестьянамъ
все то благо, которыми пользуется каждая изъ насъ. Гр. Тро-
цкому, конечно, еще памятно счастливое возбужденіе этого
бурнаго времени. После великаго акта освобожденія крестьянъ
лучшимъ русскимъ людямъ казалось, что для насъ нѣтъ
ничего невозможнаго, что въ самое короткое время путемъ
общественныхъ реформъ и литературной проповѣди можно
добиться уничтоженія того обиднаго неравенства, которое
существовало у насъ въ старое время. Правда, эти надежды
крайне не высказывали. Даже наоборотъ, многие демонстри-

но приравняли свои упования гробам и названіями „положи-
тельной философіи“, „мозга“ и т. д. Говорили, что нужно р-
затъ лгзущемъ и заботиться только о личномъ счастье.
Но тогда весьма яснымъ для глазъ всякого безпристрастнаго
человѣка ясна была всякая и благородная задача моло-
дежи; но она надвѣвалась спасти отечество и возродитъ по-
средствомъ Россіи чуждыя и все чуждость. Вмѣстѣ за без-
временно скончавшимся Добролюбовымъ явился писаревъ. Въ на-
ше предшествовавшее писателемъ сказались въ еще болѣе
рызкой формѣ. Въ свое дѣло спасенія отечества онъ в-
рился еще болѣе, чѣмъ другіе. Но слова для своихъ идей онъ
подбиралъ еще болѣе грубые, еще болѣе скрывающіе сущность
его стремленій. И за ними вся молодежь того времени стояла
повторяетъ ^{разная} (странныя) слова отрицанія и вѣнчаетъ ихъ нѣмъ
мелкимъ надеждою близость лучшей ^{мечтаетъ} времени и ^{то} вслѣдствіе
предстоящихъ и исполненію задачъ. И тогда-то возникъ
вопросъ о значеніи искусства именно въ той формѣ, въ кото-
рой онъ представляется теперь у. Политики. Что дѣлаетъ ис-
кусство? спросили они себя. Спасаетъ народъ отъ невѣжества?
Корректируетъ, поитъ, лечитъ? Развиваетъ нравственно? Пре-
дупреждаетъ отъ пбнства? На все вопросы получили отрица-
тельный отвѣтъ. Нѣтъ, искусство доставляетъ только „эстетиче-
ское наслажденіе“ богачамъ, повторить и безъ того можно и это живетъ

А, если так — что-то с ним церемониться? И в результате — знаменитые статьи Гисарева о Пушкине, в которых вся его поэзия признается никуда не годной и никому не нужной заботой пустого чепуховника. Хорошо пишет — Некрасов. У него есть „гуд-ли-ночь-по-улицам-темной“: это призывает к справедливости, к состраданию, к человечности. А „Евгений Онегин“, „Моцарт и Сальери“ и т.д. — это искусство ради искусства, народу не нужное и великим чуждое, поставленным себе молодым поколениям не только чуждое, но прямо враждебное. Даже первые произведения пр. Пюстала Гисарева похвалили только потому, что кажутся им полезными для общественного блага. Так поставили и разрешили вопрос об искусстве в 60-е годы молодые руководители молодого поколения. Нужно-ли говорить, что им взгляд и им проповедь для истории русского общественного развития — один из самых отрицательных проявлений пробуждающейся молодежи? Им юпошеская честность, суровая на вид и стесливая на самом деле горячность, им увлечения необдуманными надеждами, им глупая и наивная вера во всемогущество печатного слова — что с их поре любовью привлекает к себе взор даже таких, кто уже давно вырвался из власти их „убеждений“ и „принципов“. Но нам странно как теперь встретится в книжке пр. Пюстала размышлений, так близко напоминающих наши отдаленную юность, когда мы, вступая за своих учителей, Гисаревых, полагали

это прежде всего нужно и важно разрешить вопрос о том, какое искусство полезно обществу, и потому лишь позволять себе признавать только или inkább поэтов и художников; когда мы нападали на Пушкина со всей пуританской энергией строго воспитанная в нравственности людей за то, что он воспевал в романсах ружьи и косяки корюшеских барабанов, размышляя о вечности в „Рацетъ“, писал никому не известную Бориса Годунова, отдавая столько внимания безглаголику князю, и прочивая слегка надъ сактиментальной Платоновой влиять того, чтобы звать людей къ ваченному греху. И далее его друзья мы ему ставили въ упрек, и далее поставленный ему памятникъ вызвалъ въ насъ негодование. „Зачто“, спрашивали мы, советомъ нашъ гр. Толстой. „Развѣ онъ — мы не говорили, нашъ гр. Толстой „свѣтой“, это слово в насъ возбуждали себя употреблять, но мы именно его и имели въ виду, — развѣ онъ, говорили мы, полскій общественный деятель? Мы хотѣли, чтобы поставили памятникъ Некрасову за его любовь къ народу, т. е. къ униженнымъ, оскорбленнымъ, страдающимъ, Некрасову, за который мы восторженно повторили:

Уведи меня въ станъ побѣдоносный
За великое дело любви!

Каково же было намъ теперь встрѣтитъ у гр. Толстого столько знакомый намъ способъ отношеній къ искусству и его предметамъ

вители? Правда, г-н. Полютой она была сильна на нас.
 Мы, например, Мелетир и Гейте не трогали. Собственно го-
 ворят, мы отменно тогда пожимали, что эти писатели, с нами-
 точки зрения никак ~~не~~ не годятся, ибо у них не было того непо-
 средственного и торжественного призыва к народу, который оду-
 шевлял поэзию Некрасова. Но даже сами Писаревы не осмели-
 ваясь нападать на них и мы предпочитали обходить их мол-
 чанием, ^{даже позволяли себе читательские} в смутной надежде, что когда-нибудь мы их опро-
 вергнем. Но если бы в то время появилась книга г-н. Полютой
 то „что такое искусство“ и если бы в этой книге было по-
 меньше добродетельных слов (таких слова в то время ве-
 корбляли нашу стадность — мы думали добры исключительно
 потому, что нами это было „очень выгодно“) — она была бы для
 нас настоящим откровением. Нам только и нужно было,
 что получить право отрицать все искусство и Радзвиль,
 и Бетховена, и Мелетира, и Фанте — на том именно основа-
 ний, что все они не считали себя призванными „воспитать и учи-
 лящий терпеливый народ“, говоря словами Некрасова или,
 употребляя выражение г-н. Полютого — выражать „религиозное соз-
 нание истинного христианства — сознание братства людей“. Как
 тогда оскорбил нас г-н. Полютой своей „Анной Карениной“ т.е.
 своим Левкиным, который, как только перестал думать о
 спасении России, человечества и т.д. — „как плуток врезавший

въ зѣтлѣ. Мы не могли простить гр. Толстому, что онъ
еще на пути общаго общественнаго азвѣ, за котораго
его похвалили Тисаревъ и заговорилъ въ своихъ романахъ о
вопросахъ, не устроено ли народа никакого отъ него не имѣ-
ющихъ. „Война и миръ“, „Анна Каренина“ были для насъ, „ис-
кусствомъ для искусства“, полнѣйшими, захватывающими,
но тѣмъ болѣе раздражающими. Мы только жалели, что
Тисарева уже нѣтъ и что никому не вѣстало гр. Толстому по-
стоимости за его грѣхи. Теперь гр. Толстой ^{самъ} исполняетъ
тѣ миссіи для которой мы тогда боялись новаго Тисарева. Онъ
прикладываетъ свои романы къ гурному искусству и мечтаетъ
отомъ, какъ бы создать новое искусство, которое служило бы
народу и его нуждамъ. Какими же образомъ гр. Толстой вер-
нулся изъ тѣхъ идеаловъ, отъ которыхъ бѣжалъ въ молодости
годы? Тисаревъ, восторгавшійся искусствомъ ради искусства и
уничтожающій Пушкина намъ понятенъ. Въ 27 лѣтъ ес-
тественно надѣяться, что полнѣе изъ осуществленіи вели-
кихъ идеаловъ случится превращеніе преклоненіе людей предъ
зѣтливой и что нѣсколькими статьями можно сразу под-
винуть впередъ дело разрѣшенія экономическихъ и иныхъ воп-
росовъ. Тисареву казалось, что каждая статья его является
событіемъ въ этомъ смыслѣ и проповѣдь не могла не вдохнов-
лять его. Но гр. Толстой отлично знаетъ, что онъ никакъ

ничего измыслить не могут. Они сами говорят: „я мало читаю, чтобы говорить, которые я привожу въ извращенной истинности и вкуса, въ нашей обществу, не только были признаны, но серьезно обещаны“. И это въ нем, конечно, не скромность говорит. Они на самом деле превосходно понимают, что никогда его „наказаний пытки“ или „быть правду знает, но скоро сдается“ (только эти два раза изъ всего, что им написано, относят онъ къ хорошему искусству) — ~~никогда~~ не будутъ иметьъ для читателя того значения, которое имеютъ не только его большие романы — но даже „смерть Ивана Ильича“. Зачемъ же, для чего онъ пишетъ? Отъ чего онъ пишетъ „что такое искусство“ не написалъ еще двухъ, трехъ сказокъ для народа по своимъ правиламъ, которые онъ выработалъ для талантливыхъ художников? Очевидно, что и самъ онъ обращается къ такимъ или такимъ вопросамъ не потому, что размышлениемъ имъ надъется быть полезнымъ миру, а потому, что не думать о нихъ онъ не можетъ. Рецептъ художественного творчества составляетъ имъ не для себя, а для другихъ...

Учитывая въ это „аэро графъ Zarathustra“ есть одно, очень любопытное мѣсто. После своей борьбы съ калтыками, Заратустра обращается съ проповедью къ ученикамъ своимъ. Возникъ изъ калтыкъ-горбатики — съ удивлениемъ кри-

лучиваясь къ новымъ словамъ, спрашиваетъ ученика: „отъ чего ты
съ учениками иначе говоришь, чѣмъ съ нами? — ^{и чему-же тутъ удивляться!} ~~отъ того~~, отъ того —
заетъ Заратустра, съ горбатыми по горбату и говоритъ нуд-
но — „Хорошо, сказали горбатымъ — и съ учениками нужно раз-
говаривать по школьному (*aus der Schule*). Но почему За-
ратустра иначе говоритъ къ своимъ ученикамъ, чѣмъ къ са-
мому себѣ? ^и Отъ г-на Мюллера такъ рѣшѣ не слышишь. Онъ
никогда не позволитъ читателю проникнуть дальше того, что
имъ официально возвышается, какъ учение. Онъ предлагаетъ намъ
считаться не съ нимъ самимъ, а съ его „школой“. И Нитше чувствуетъ
поситъ „маску“ и даже слишкомъ часто падаетъ на себя. Но,
онъ никогда такъ бережно не охранялъ святости своего творчества,
отъ постороннихъ взглядовъ, какъ то дѣлаетъ г-н Мюллер, хотя
у него, ~~Богъ знаетъ~~ несомненно, было больше поводовъ сражаться, чѣмъ
у г-на Мюллера, хотя онъ временами высказывалъ убѣжденіе, что
вся задача писателя сводится къ тому, чтобы украсить себя и
жизнь. Несомненно, что не только Нитше, но и г-н Мюллер съ уче-
никами разговариваетъ по школьному, дѣлаясь съ ними тобою
„выводами“ и утаивая отъ нихъ ту истоконную и тяжкую
работу своей души, которая представляется ему ^{исключительно} „учениемъ“.

Оттого у него на первый планъ выдвигается чисто писаревская
т-е. юношеская увѣренность, что „стоитъ только захотѣть“
людямъ и искусство для искусства будетъ замѣнено дру-

A. S. Z. Von der Erlösung.

и имъ хороши и въ искуствованнхъ. Гр. Толстой знаетъ, что про-
сто погнѣтны „стоитъ думать захотѣть“. Въ этихъ сло-
вахъ говоритъ не писаревская молодая вѣра, а разочарованіе
дошло и упорно борющагося стараго челоука, рѣшившаго отна-
завсѣгда отъ неравной борьбы. Онъ эти слова ни для себя придумалъ,
а для учениковъ, для друзей, чтобы имѣть возможность
отвязаться отъ преслѣдующихъ соименной и перейти отъ
стоящаго невѣроятнаго тяжелаго груза — философии къ бытъю
человѣку, простому и уютному и тѣлоу и телу занатію — проповѣди.

Гр. Толстой кончаетъ ее ^{такимъ} тою, съ чего началъ Писаревъ! Сто-
итъ только взглянуть въ это загадочное явленіе, чтобы по-
нять, зачѣмъ гр. Толстой въ своихъ статьяхъ грозитъ намъ
и наше искусство. Онъ, какъ и все жившія до него люди, не
умѣлъ сорвать покрывала съ кетинки и долженъ забыть, во
что бы то ни стало забыть роковую загадку жизни. Онъ напи-
салъ „войну и миръ“ и впалъ на время подъ впечатленіемъ изъ
искупавшихъ его соименной невѣрий. Все ужасы двѣнадцата-
го года представились ему замкнуткой, полной смысла кар-
тинкой. И движеніе людей съ востока на западъ, и съ запада
на востокъ, съ сопровождавшими его массовыми убійствами,
и жизнь самыхъ разлитыхъ людей отъ Каратаева и Ана-
тола-до Кутузова и князя Андрея, все представилось ему
единичнымъ и гармоническимъ цѣлымъ, во всемъ онъ умѣлъ

увидеть руку Провидения, неужели же ослабнуть и незна-
ющих человека. ¹¹ Война и мир "высший идеал душевного
равновесия, от которого только может идти человек.

Богалинский в одном из своих частных писем говорил:

"если бы мне и удалось взойти на вершину ступень лестни-
цы развития, я и там попросил бы вас дать мне ответ
во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах
случайности, сущности, инвизиции, Фигура II и пр. - иначе
я с верхней ступени бросаюсь вниз головой. Я не хочу счастья
и даров, если не буду спокоен на счет каждого из моих брать-
ев по крови". В этих немногих и простых словах выражена
сущность философской задачи. В них и программа "войны и ми-
ра": пр. Моей требовать ответа у судьбы на счет каждого
из своих братьев по крови. И-накже ему казалось - получил
полное удовлетворение. Во всех событиях он видел руку
Творца и смирился, и успокоился душой. Он никого не хотел
учить, полагая, что все учатся в жизни и каждый получает
свое. Вот какими словами описывает он в Письме это
настроение: "в Письме была новая черта, заслуживавшая ему рас-
положение всех людей: - это признание возможности каждого
человека думать, чувствовать и смотреть на вещи по сво-
ему; признание невозможности словами разубедить человека.
Эта законная особенность каждого человека, которая прежде

болновала и раздражала Лёва, теперь составила основу чуж-
 ства и интереса, которые онъ принималъ въ людяхъ. Различіе,
 иногда, совершенно противоречіе взглядовъ людей съ собою и между
 и между собою, радовало Лёва и возвышало въ немъ населявши-
 вую и протѣкую улыбку. "На немъ было уже указание, гр. Толстой
 не надолго сохранилъ душевное равновѣсіе, а вѣроятно съ тѣмъ
 потерялъ возможность оставаться на высотѣ философіи „вои-
 нѣ и мира“. У него, какъ и у Достоевскаго, стала развиваться
 черта нетерпимости, сознаніе противоположности своихъ ин-
 тересовъ не только въ интересахъ Наполеона и Соки, но многихъ,
 очень многихъ людей и поэтому онъ ухватился за нихъ и
 личнаго дома и народа, чтобы имъ и менѣе защищать
 „добро“ отъ „зла“. Поэтому то въ современномъ обществѣ,
 въ людяхъ своєю крута онъ не видитъ ничего хорошаго. Это хо-
 рошее ему не нужно, ему нужно дурное, чтобы было на ^{то} ~~что~~
 на ~~что~~ ^{что} излить накопившееся въ сердцѣ безсмысленное противъ,
 тактвенной и упорной неразрывимости мучительныхъ жиз-
 ненныхъ вопросовъ. Несмотря на то, что онъ всегда ссылается
 на Евангеліе, христіанскаго въ его ученіи очень мало. Если прирав-
 нивать его къ св. Писанію, то развѣ не всталоу за вѣтъ, не про-
 рокамъ — которыхъ онъ напоминаетъ характеромъ своей пропо-
 вѣди, и требовательностью. Онъ не хочетъ убѣдить людей — онъ ихъ
 запугиваетъ. „Делайте то, что я говорю вамъ, иначе вы бу-

детей безнравственных, развратных, испорченных существами.
и пробовалъ подчеркивать такого рода слова въ книгу г-на Плато-
нова: и въ этой страницѣ ^{она оказалась испещрена} ~~пестротой~~ нарядности. Очевидно, г-н.
Платонову нужно прежде всего обидеть, оскорбить, наше общес-
тво, вывести на него и на насъ и на будущее свое зло. И этого онъ никогда не
достигаетъ какъ нельзя лучше. Онъ хочетъ отнять у насъ то,
что намъ больше всего нужно и заставить принять насъ то,
что намъ советъ не нужно. Средство-то простое: то, что намъ
нужно - зло, и то, которое отъ этого не отказываются - ~~то~~
~~лучше, чем~~ безнравственные, гурьные люди; то, что намъ не
нужно - добро и то, которое его не принимаютъ - не при-
маютъ добра. А добро - Богъ. Вотъ это подлинная слова
изъ, "что такое искусство": добро есть вечная, высшая цѣль
нашей жизни. Какъ бы мы ни понимали добро, жизнь наша
есть не что иное, какъ стремление къ добру т.е. къ Богу. Доб-
ро - есть Богъ! Пр. есть добра какъ цѣль для человека.
Если бы г-н. Платоновъ погъ добрыхъ и теперь, какъ въ бывшие
времена понималъ въ совокупность всего, что онъ живетъ чело-
вѣкъ - такое опредѣленіе могло бы имѣть не только пол-
мическое значеніе. Но и тогда оно было бы неправильнымъ
и никакимъ образомъ не могло бы быть принятымъ. Изъ
Библии мы знаемъ, что Богъ создалъ человека по своему об-
разу и подобію, въ Евангеліи Богъ называется нашимъ

небеснымъ отцемъ. Но нигдѣ въ этихъ книгахъ не сказано, что
 добро — есть Богъ. Гр. Толстой однако идетъ еще дальше. Онъ
 утверждаетъ: „религіозное сознаніе нашего времени въ самомъ
 общемъ приложеніи его есть сознаніе того, что наше благо, и ма-
 териальное, и духовное, и отдѣльное, и общее, и временное, и вѣ-
 чное, заключается въ братской жизни всѣхъ людей, въ любовномъ
 единеніи нашемъ между собой“. Цель этого опредѣленія — тоже чисто
 полемическая, ибо оно даетъ право гр. Толстому именоватъ всѣхъ
 тѣхъ, которые смѣютъ думать, что, помимо братскаго единенія есть
 еще Блага въ жизни, и тѣхъ Божьихъ тѣхъ, которые въ взаимной любви
 видятъ не цель, а только средство Богу тѣснаго сближенія лю-
 дей. Гр. Толстому нужно такое опредѣленіе, которое давало бы
 ему право требовать ^{отъ} людей любви къ ближнимъ, какъ исполне-
 нія ихъ долга. На этомъ построена вся книжка, что даетъ по-
 воженію истодовать, возмущаться, проповѣдывать — независимо
 отъ того, принесетъ ли все это хоть какую нибудь пользу тѣмъ
 бѣднымъ, тому народу, отъ имени которыхъ говоритъ. Намъ
 у Достоевскаго убійца Раскольниковымъ ~~женихи~~ ^{женщины} даютъ
 возможность автору думать убійцу, такъ и у гр. Толстого
 эксплуатиремый народъ является на сцену не затѣмъ, чтобы
 получить обличенія, а чтобы помочь гр. Толстому обличать и
 прожить. Гр. Толстой знаетъ, что не можетъ помочь бѣд-
 нымъ и обездоленнымъ и что въ этомъ смыслѣ его пропо-

Всего обязательно будет лагерь вопиющего в пустыню. Если
они все таки говорят - то лишь ради небольшой мучки слу-
шающих его интеллигентов, которые тоже ничего и не почти
ничего не могут сделать, но у которых совесть при чтении
толстовских статей, ^{всегда} ваводит свою унылую и безцельную тоску.
Они, эти интеллигенты, читают Шекспира и Достоевского, слуша-
ют Бетховена и Вагнера, смотрят картины знаменитых
художников. Ишь, конечно, это нужно - и как еще нужно!
Но г-н Толстой этого не желает. Ступайте к близким и
любите их. Это - ваш долг. В этом долге обит вошесве-
щее благо. Это же произведения искусства, которые вы эти-
те не только не хороши, но прямо дурны и безправительны.
Ради них убабят народ и вы ничего обратной любви не
говорите. Словом - их нужно бросить.

Такова основная мысль "что такое искусство" и таковы,
как мне представляется, главные мотивы толстов-
ской проповеди "добра". Я не стану вдаваться в подробный
разбор разных рода соображений, которыми обставлены
г-н Толстой свои основные положения. Это представляет инте-
ресный, литературный материал. Нам здесь занимает не так много
г-н Толстой говорит со своими учениками, а как он гово-
рит с самим собой, для нас важна не форма словесного
нования его "правды", а тот источник, из которого вы-

ненависть

текла его проповедь, его ожесточенная ~~проповедь~~ к культурным
 классам, к искусству, к науке. Повторяем — не вера и хри-
 стианство привели гр. Толстого к его отрицанию; о вере у
 него нигде нет ни слова, Бог улыбочливо подмигивается
 добром, а добро-братской любовью людей. Такая вера не
 исключает, вообще говоря, совершенного атеизма, совершенного
 безверия и ведет обязательно к стремлению уничтожать,
 души и давить других людей во имя какого-либо принципа,
~~хотя бы он был по себе~~ который выставляется обяза-
 тельным, хотя сам по себе он в большой или меньшей мере
 чужд и чужден и его защитники, и люди. Той любви
 и сострадания, о которых гр. Толстой все время говорит, у
 него нет и не может быть, как мы видели из много-
 численных цитат, взятых из его сочинений. Не потому, что
 он не так "хороший человек", что все те, которые лю-
 бят и сострадают в жизни и книжке, что он "чуждый,
 безсердечный, стальной человек, как говорят пономиники
 Дикенса и Тургенева. Несомненно, что гр. Толстой не
 меньше любил к людям, чем у Дикенса или Тургенева и
 что он умеет отзываться на несчастие ближнего. Разница
 лишь в том, что эти отзываются "для него не конец, как
 для других — а начало". Разница лишь в том, что ему
 мало отзываться на нужду и бросить подачку бедному —

хотят бы и говорить о приятности даваться и возводить милосер-
дие въ крики и ны. Но это происходит именно потому, что они
слишкомъ хорошо понимаютъ, что ~~ничего не дано ему извне~~
~~Нитше~~ — какъ мало можетъ помочь даване, и что большого
и не накопить и не сколотить въ проповѣдь, ради которой уни-
тожатъ Анну Каренину, Вронскаго, Кознышева, всю интелли-
генцію, искусство, науку . . .

У III

Здѣсь мы подходимъ къ философіи Толстовскаго антипода — Нит-
ше. И у него, какъ у пр. Толстого начало душевнаго переворота
было сознаніе того великаго событія, что „Богъ умеръ“, какъ
выражался впоследствии самъ Нитше или, что „Богъ-это добро“,
какъ говоритъ теперь пр. Толстой, утверждая, что въ этомъ суш-
ность христіанства и что въ этомъ — религиозное сознаніе на-
шего времени. Въ томъ, что „Богъ есть добро“ и „Богъ-умеръ“
выраженіи одно значущія и что пр. Толстой и Нитше исходили
изъ одной точки зрѣнія могутъ служить доказательствомъ
слѣдующія слова Нитше: „лучшій способъ начать день: просну-
вшись подумай, нельзя ли въ этотъ день порадовать чужд-и-буду-
щихъ одного человека. Если это станетъ заминой религиозныхъ
привычекъ, люди только выиграютъ отъ такой замины.“ И
еще: „въ мірѣ ~~еще~~ далеко недостаточно любви и доброты, что-
бы дарить имъ ~~милые~~ драматическія существа“. Русскому

читателю, напыляющемуся о всемогущести актиризма и имморалиста.
 Киптше приведенные слова покажутся странными в его устах. А между
 ду тем, в них объяснение всего его будущего настроений. Оба эти апро-
 призма взяты из „ Menschliches, Allmenschliches “ той книги, в кото-
 рой Киптше впервые отрывается от Шопенгауэровской метафизики.
 Теперь для него метафизика, представляющая собой содержание его пер-
 вого труда, die Geburt der Tragödie, — этого типического образца
 талантивой ученой сажеи в пессимистическом стиле — „ наука
 наука, говорящая о вечных заблуждениях человека, но с такими
 видениями, будто речь идет о вечных истинных “ . У него уже уже не
 ищет объяснений. Он бьется от своих теорий эстетического
 истолкования трагедии — именно теперь, когда он, поблудившему,
 наиболее нужен, ибо трагедия, до сих пор проходившая
 в душах героев, Эдипа и других героев Софокловых и Эсхи-
 ловых драм — теперь проходит в его собственной душе.
 Он понимает уже, что великое несчастье не может быть оп-
 равлено тем, что оно можно красиво и возвышенно разна-
 зать; несчастье, разрушающее человеческое горе ему не го-
 дится. Он ищет другого способа, что думает найти спа-
 сение от преследующих его чужаков. Он стремится к „ добру “ , о
 котором он проявляет думать, что оно всемогуще, что оно может
 все заставить, что оно — Бог, что оно — выше Бога, что человеческое
 только вырастает, если взаимоотношения Бога со своей любовью будет от-

свадьба Ближних. Идея — чисто толиковская, как видите чита-
тель. Разница лишь в том, что Нитше в то время еще
не искупил и от всей души вверил в спасение посредством
добра — да еще в том, что вся судьба Нитше зависела от то-
го, что принесет ему эта война. Как поимит читатель, ука-
занная болезнь поставила его в необходимость отказать не толь-
ко от работы, но и от всякого общества. Всегда одинок, преследу-
емый мучительными припадками, он мог только думать и запи-
сывать свои мысли в вид коротеньких афоризмов. При та-
ких исключительных обстоятельствах сила „добра“ была по-
вергнута серьезному испытанию. Можем ли мы, как говорили
философы, заложить человеку всю его жизнь? Отвечать на
это случится философия Нитше. Немецкие профессора, в том
числе и переведенный на русский язык А. Риле, хотя и призна-
ют, что „Нитше — не обыкновенные книги, а предсказания,
преджития книг — но они все откидывают у Нитше
все их значение и все их ^{есть} ~~смысл~~, говоря, что они ~~являются~~ ^{являются} ~~только~~
„предсказаниями мысли“, мысли, как предсказания. Разве
Нитше лучше знает истоки своего творчества. Он говорил
об основной, наиболее занимавшей его ~~проблеме~~ проблеме — пробле-
ме нравственности, что она была его личным вопросом, что
ей была связана его судьба. Очевидно не о „мыслях“, как пере-
сказывают целая усталость, хотя он и был философом, т. е. ~~идеалистом~~

съ нами, умишленно отдавать себе отчетъ въ своихъ мысляхъ и
 чувствахъ. Это переживанія "связаны не съ отвлеченными, ликаци-
 ми въ интересахъ группы людей, вопросами, а съ тѣмъ, изъ чего ста-
 няется вся наша жизнь. Въ бытъ мыслительно болѣе, болѣе обречены
 на невольную безразличность и обязательное уединеніе, эти ли
 и связанные съ ними обязательства составляютъ "предельные
 мыслитель"? Изъ чего же тогда жизнь? Но, что произошло
 съ Кутше, проехавшимъ съ тѣмъ же людьми сплоск и рядовъ на
 казняхъ глазахъ. И бытъ мыслитъ, все эти люди такъ-же, какъ
 и Кутше реагируютъ на свои нехотѣ- по мыслямъ: не чувствуютъ
 или не смѣютъ возвысить сво^й голосъ противъ установленнымъ
 группами, не знающимъ ихъ страданій людей, принужденъ. Чего
 больше? Сами Кутше въ началѣ до того были смущены безвыход-
 ностью и унизительностью своего положенія, что ничего ^{другого} ~~своего~~ не
 находило сказать, ^{какъ} ~~чтобы~~ эту фразу: "больной не имѣетъ пра-
ва быть несправедливымъ". Имяющимъ или да слышитъ! Что зна-
 чить это "не имѣетъ права"? Кто отнялъ это право у боль-
 ного? До чего еще могутъ дойти смиреніе и самоуничиженіе? У
 человека отнято все, человека обречены на непрерывную панику,
 и онъ еще не имѣетъ права окалоуаться, проликатъ, протесто-
 вать противъ такой силы, не въдова за что казнящій его?!
 И это сознаніе о своей безправности не оставляетъ Кутше до
 конца его жизни. Профессоръ Лихтенбергъ заключаетъ свой разсказъ

очитературкой глупости Нитше сходящихся на буквы за-
мечательны: „... и тогда пришло безумие положить конец этой
сознательной жизни, он пыл побегу. И эта ли судьба не пре-
красна?" В рендант не тому могут служить слова уже цити-
рованной пр. Рича, который, тоже в утешение читателю разска-
зывает, что Нитше, подобно Руссо „в своей личности ~~и~~ и судьба ~~и~~
мечтает прилить трагизма жизни". Давно бы пора отназваться от
этих общих мест, в которых с такой не позволимительностью
сказываются злые люди, всегда готовые грешить убога и плати-
тически засвидетельствовать „прекрасной судьбы" Простите, у которого в это
время коршунъ выклевывает печенку. Бываю ли прекрасна судьба
Нитше — об этом можно и спросить. И ^{большую} ~~и~~ ^{тогда} ~~и~~ разнасят
Нитше о „трагизме" жизни: „психолог, прислушиваясь к судосуде-
нью людей, может: с неподвижным лицом узнать ох, эти
такие уважают, удивляются, любят, прощаются — и он не вы-
ходит; он даже еще считает необходимым скрывать свое мнече-
ние и для виду соглашается с первым, случайным мнением.
Может быть парадоксальность его поведения доходит до та-
кой ужасной степени, что именно тогда, когда он научился вели-
кому состраданию и великому презрению, — тогда, образованные
люди, мечтатели в ^{то} своей очередь научаются великому уваже-
нию к „великим людям" и гуггенбильдским, ради кото-
рых можно бросать и чуждое отечество, мир, родственные

Анненков I

362р.

49

человѣка, самихъ себя, на которыхъ указываютъ юношамъ, манъ на
примѣръ. И кто знаетъ? можетъ быть во всяхъ великихъ случаяхъ
росскихъ поръ происходило одно и то же: тогда молчала на Бога, а ^{III}
этотъ Богъ былъ самъ только бѣднѣеи жертвеннѣе или вотъ нѣтъ
Такъ понимаетъ „психологъ“ исторію „великихъ людей“, судьба кото-
рыхъ кажется завидной пр. Лихтенбергу. ~~Но~~ и далье нѣтъ
хорошести: „эти великіе поэты - Байронъ, Мюссе, Нои, Леонарди,
Клейстеръ, Гюголь (я не смѣю назвать болѣе значительныхъ именъ, по-
мню только въ виду) - такими они были, можетъ быть, должны были
быть: люди мигновенія, восторженныя, чувствленныя, ребячески наив-
ныя, легкомысленныя и непрочныя въ своей подозрительности и го-
ворчивости; ^{принужденныя скрывать ману публичности въ своей душѣ;}
(часто своими сочиненіями ищущіе отмстить за
свои пережитыя позоры (inhere Besudelung); въ своемъ пареніи стре-
мящіеся освободиться отъ напихиваній слишкомъ хорошей памя-
ти; тогда ищущіе въ гряди, почти влюбленныя въ нее - до тѣхъ поръ
когда они не уподобляются блуждающимъ у бѣлота огоньковъ и
не притворяются звездами - народъ ихъ тогда называетъ идеалиста-
ми; часто борющіеся съ вѣчнымъ отъращиваніемъ на юмори, съ по-
стоянно вповѣ возвращающимися къ нимъ привагніемъ невѣрій,
которое оштрафываетъ человека и нацѣпляетъ его ошейникъ „двояка“ и
скрываетъ „вру въ себя“ ихъ руки опьяненныхъ лѣтчиковъ: такое
мученіе эти великіе художники и вообще великіе люди для того,
кто однажды разгадалъ ихъ“ ^{IV}. Въ этомъ отрывкѣ называются

только имена Байрона, Мюссе, Гоголя и т. д. Бывает значительные
писатели Нитше как будто бы не имеет назвать. Но, в дру-
гом смысле почти такое-же, если не больше ужасное подозрение.
Всказывается по поводу Шекспира. Читатель поймёт ту ссу-
ну из "Юлия Цезаря" когда поэт впадает в панику ссорив-
шихся воинов - Кассия и Брута - чтобы примирить их. Нитше
говорит по поводу него: "Шекспир пахнул предвздошью и доброду-
шеством Брута и чувствовал себя глупым и недостойным его."
Обажды является поэт в пьесе и обажды на него изливается та-
кое крайнее и нетерпеливое презрение, которое звучит как крик -
как крик самопрезрения. Брут, сам Брут теряет терпе-
ние, когда является поэт, самоуверенный, патетический, надолго живи-
вающий обыкновенно бывают поэты, в качестве существа, чуждо-
го высокопарно боится возможности величия - так же и
нравственного - , но в философии глупости и ослепки рождаются
и обиды честности. "Я буду слушать остроумия его, но в
время он будет говорить мне. Не хочу при войсках эти сморозки.
Пріятель убираться!" восклицает Брут. Перенесите эти слова
в душу поэта, написавшего их "В. Ганс мотивы творчества
находили Нитше у великих поэтов. Нам теперь не заимает,
на сколько справедливы его догадки. Для нас гораздо важнее уста-
новить, что привело его к ним. У него прямого ответа нет, когда
однажды один из учеников спросил у Заратустры ~~о чём он~~ об этом

кенія по поводу его словъ, онъ получилъ такой отвѣтъ: „а къ кому прина-
 длежу и къ числу тѣхъ людей, у которыхъ спрашиваютъ объ немъ, почему“¹⁾ Раз-
 въ мои переживания со вчерашняго дня? Въ этомъ одно изъ досто-
 инствъ философовъ Китши. Большинство разного рода, потому, кото-
 рымъ обыкновенно писатели представляютъ свои положенія являются
 аргументами ex post facto. Убѣжденіе давно созрѣло, нужно лишь
 заставить людей принять его: и все доводы считаются хорошими, ес-
 ли только они достигаютъ своей цѣли т.е. представляютъ сужде-
 ніе законнымъ и правомѣрнымъ съ логической точки зрѣнія. И
 Китши иногда пускается, обосновывать свои мнѣнія, ссылаясь на
 исторію, философію и т.д.; и тогда его разсужденія на столько же
 проигрываютъ въ своемъ значеніи и интересѣ, насколько онъ выигры-
 ваетъ во внешней обстановкѣ. Его „познаніе“ вытекло изъ внут-
 реннего опыта, изъ того страшнаго опыта, который приводитъ
 къ убѣжденію, что болѣе не имѣетъ права быть неспасе-
 номъ, что великіе писатели вымещаютъ свое гнѣве. Везде-
 везд, тамъ тамъ, где все члѣтъ бога — на самомъ дѣлѣ есть
 только „бѣдное жертвенное животное“. Эти Фланиа и Кимъ подоб-
 ны „потому“ — въ отвѣтъ на любопытствующаго, почему „въ при-
 мой драмѣ никогда не разсказываются, не могутъ быть разска-
 ны. Они проявляются лишь въ своеобразной проницаемости на
 счетъ психики другихъ людей. И, если Китши, утверждаетъ, что
 обращенны къ поэту слова Брута нужно перенести въ душу

1) A. S. L. Von den Dichtern

Шенетера, то ~~составляет~~ про мыкав торное можемъ приять его
собственныя прокиповскія въ тайны великихъ людей за небольшие
признанія и въ нихъ найти то переживаніе, въ которомъ онъ не хотѣлъ
разсказывать ученику своему, ссылаясь на нѣкую отдаленность и новую по-
лую память. „Если я и нѣкогда преимущественно передъ другими психоло-
гами, говоритъ Китце, то оно состоитъ въ томъ, что мой взглядъ
острѣе въ томъ труднѣйшемъ и рискованнѣйшемъ видѣ обрат-
наго заключенія, при которомъ совершаются наибольшія ошибки.
Заключенія отъ создателя — къ его творцу, отъ поступка — къ посту-
пающему, отъ идеала къ тому, кто въ немъ нѣкогдается, отъ
каждого строга мысли и возгласа — къ нѣкому изъ пороки или по-
требностямъ“¹⁾. Это онъ правду говоритъ о себѣ. Онъ научился такъ
различать, что другіе ничего не видѣли. Но откуда взялась къ голо-
вку, можешь за „самое чужденіе“ такая своеобразная прои-
цательность? Очевидно — источникъ одинъ: онъ находилъ у другихъ
то, что видѣлъ у себя.

„Каждый глубокий мыслитель, говоритъ Китце, гораздо больше боитъ-
ся быть понятымъ, чѣмъ не понятымъ. Въ послѣднихъ случаяхъ, бѣда
можетъ, страдаетъ его тщеславіе, въ первомъ же — его сердце, его любовь
къ людямъ, которая всегда говоритъ: ахъ, зачѣмъ въ хотѣте то же
всѣмъ (es auch so schwer haben), что и я?“²⁾ Изъ этого читатель
можетъ себѣ въ какой-то степени представить, что значатъ кисти-
стыдующія слова Китце: „что касается моего болѣзненнаго, — а не несои-

Евгений Виноградов
42 стр.

Мал. у Анны I

50

только большими обязанностями моему здоровью. Я им обязан, вли-
лишь здоровьем, таким, при котором желобки и рта не есть
~~Мой обязан всей моей философии~~
всего, что его не убивает. Только великая боль — последний осво-
бождитель духа; она учит великому подозрению, ^а и из нас же
и — дилетант X, ~~и~~ истинный, настоящий X т.е. предположению
букву перед последней. Только великая боль, та великая, мед-
ленная боль, при которой мы будто стараемся на свертках гробов,
которая не торопится — только эта боль заставляет нас, фи-
лософов, спуститься в последние наши глубины, и все доброе,
хорошее, добродушное, прикрашающее, малое, посредственное — все
бывает может или если прежде полагали свою цельность —
отбросить от себя. ⁽¹⁾ Эти вольные и невольные признаки
открывают нам, с какой чуждой прищель Нитше к „добр-
ру“, и чего он не знает от нравственности, когда он утверждает,
что и проблема — была его собственной, личной проблемой,
что с ней была связана его судьба. Повторяю, быть мо-
жет нравственности не впервые приходилось испытать что-то
с любовью, ~~подробно~~ накопившимися в отстоятельствах
Нитше. И может быть многие встать за Нитше могли
бы повторить: „я сомневаюсь, что бы такое страдание гр-
дано человеку, ¹ лучшим — но оно дает его больше глуби-
ны. ⁽²⁾ Но до Нитше никто не смел открыто, своим, то-
ним своим опытом пробовать общепризнанный суверен-

ная права добра." Если Нитше говорил: "больной не имеет пра-
ва быть несчастным", то другие до него считали, что боль-
ной (несчастный) человек не имеет права претендовать
на нравственность, если она не оправдывает ^{его} ~~их~~ надежды,
что вина не в ~~нем~~ ^{ней}, а в ~~них~~ ^{нем} ~~самых~~ ^{ом}. Это станет ясным
впоследствии, когда мы ознакомимся подробнее с теми при-
чинами, которые заставили Нитше отшатнуться от своих
юношеских идеалов; пока мы должны лишь раз подчерк-
нуть одно чрезвычайно важное обстоятельство. Нитше был и
остался до конца своей жизни нравственным человеком
в полном смысле - самым обидчивым - этого слова. Он не
мог и ребенка обидеть, был изумлен, как молодой
губушник и все, что почитается людьми догмой, обязанностью
исполнять разве что с преувеличенным, слишком добросовестным
усердием. Мы уже приводили два его афоризма: "ни за что так
дорого человек не расплачивается, как за свой добродетели" и
"кто уже не жертвовал самим собой ради своего доброго
имени!". Для нас в этих словах неопределимое свидетельство,
более важное, чем толстая биографическая книга, в кото-
рой искренние и добросовестные люди из сил стараются
изобразить Нитше шаблонным великим человеком
т.е. таким, каким великому человеку быть полагается, соот-
ветственно установившимся у нас, традиционным представлениям

сущности вещей. Значит — все любовито для нас, ищущих най-
 ти точки соприкосновения между католическим и антихристианским и
 русским христианством, вспомните о соответствующем при-
 казаніи гр. Толстого. Гр. Толстой никогда не платил за свои
 добродѣтели. Но за пороки — платился и очень. Вотъ его подли-
 нная слова: „ въ своей жизни и особенно въ мірской служилъ слав-
 ной жизни я наберу страданій, почтенныхъ мною во имя че-
 сти мира столько, что имъ достало бы на хорошего ученика
 Христа. Все, самая тяжёлая и мучительная часть жизни, начиная
 отъ студенческаго пьянства и разврата до дуали и войнъ; до
 того нездоровья и тѣхъ неестественныхъ условий жизни, въ ко-
 торыхъ я живу и теперь — все это мученичество во имя мира.
 Очевидно — помимо того, какъ теперь гр. Толстой оцѣниваетъ свое
 прошлое — когда то онъ прѣисналъ очень охотно и много, и та-
 кой эпохи въ своей жизни, которая была бы посвящена все-
 цѣло служенію добродѣтели, онъ назвать не можетъ (послѣд-
 ние слова, понятны не въ слѣдъ). Его выводъ изъ всей своей
 грѣховной жизни прямо противоположенъ истинѣ: „
 „ нечего всякій искренній человекъ вспомнить хорошему
 свою жизнь и онъ увидитъ, что ^{онъ} ни разу не пострадалъ отъ
 исполненія ученія Христа“. Вопросъ лишь въ томъ, можетъ
 ли быть гр. Толстой судей въ значеніи добродѣтели для че-
 ловѣка, когда онъ самъ такъ много грѣшилъ. Очевидно

это въ этомъ смысле „безнравственный“, какъ его называетъ
г-р. Толстой, китице гораздо компетентнее: ни пьесы, ни
разврата, ни думы, ни всего прочаго, чѣмъ была напо-
лена жизнь г-ра Толстого, у него не было. Онъ случился „добру-
и добро съиграло надъ нимъ коварную шутку. Пока онъ
былъ молодъ, силенъ, здоровъ, пока еще могъ обойтись и безъ
утѣшеній добра т.е. пока онъ иль въ своихъ распоряже-
нiи все, чему обыкновенно радуются и чѣмъ живутъ люди,
и добро приносило ему свои дара. Когда же все чуждо было
отъ него, когда онъ остался одинъ — и добро, какъ невѣрный
другъ, покинуло его. Ему не было и 30 лѣтъ, когда съ нимъ
произошла та страшная метаморфоза, которая называ-
ется болтовней. Почти сразу, какъ роптавшiй маломе-
таликъ въ психическомъ отключенiи, — онъ успѣвши
только проснулся разбитымъ старцемъ, съ страшными
сознанiями, что жизнь чужда — и не вернется никогда. А
смерти нѣтъ — нужно жить погнѣннымъ и мрачнымъ граф-
твѣской тьмой: *entweder sollst du, sollst entwenden*. Въ ка-
кой молитвѣ пошелъ онъ къ добру — единственному Богу,
которому могъ онъ молиться! Другого Бога у него не
было, онъ не смѣлъ о другихъ Богахъ и думать, потому-
же, почему не смѣлъ? Быть несомненнымъ: ибо этотъ Богъ
вѣщаетъ бы, психологически говоря, придуманнымъ адомъ

философических и утилитарных, как и пессимизма; которые у болонна являются результатом не объективного созерцания, а случайно сложившейся личной удобства...

Дан

IX

Искали ли китше Бога? Об этом уже достаточно свидетельствуют его страстные нападки на христианство. В наше время они звучат совершенно чуждым для „образованного“ человека — ир. Полютой это лучше других знает. Жаль только, что у китше они не вызываются, как у других писателей — у Вольтера или молодого Гейне, например — совершенно посторонними, политическими соображениями. Как раз наоборот: весь демократический галлский обыватель враждует с государственными религиями китше чужда. Благодаря тому, китше ставит в вину христианству широкое распространение современной идеи о равенстве людей и об этом говорит часто, много и как будто бы страстно — хотя в сущности он не к общественным вопросам был равнодушен до крайности. Христианство занимало его именно как религия, как учение, которое должно было разрыть вель его сонливый, освободит его от того отворачивания к жизни, которое постоянно овладевало им, не смотря на то, что он так убедительно уверовал в: „Богиня не имеет права быть пессимистом.“ В истории ~~(христианства)~~ нового времени китше является первым, быть может единственным, философом — братом

христiанства, какъ религiи и, что еще важнѣе, оуки изъ како-
ныхъ, рѣшавшихся одвергнуть члвческіе Евангелiи въ то
время, когда оно ему нужно было больше всего на свѣтѣ. До
сихъ поръ обыкновенно говорили, что члвчскыя „обязанъ“ въритъ,
быть религiознымъ. Но поборъ китше нужно измѣнить это
выраженiе. Нужно сказать: „члвчскыя имѣютъ право върить,
быть религiозными“. Исторiя атензма китше есть исто-
рiя отбисканiя этого права. Если онъ не нашелъ его, то, очевид-
но, не своей „вѣры“, а „злой воли“, которую такъ охотно
приписываютъ невѣрующимъ — и которую такъ чаето ста-
вить съ упрекомъ ^{пр. Плостей} современныя интеллигентныя люди — зря,
конечно, не можеть быть и рѣчи. Наоборотъ, китше положилъ
всю силу своей души на то, чтобы найти веру. Если не онъ
ее не нашелъ, то, стало быть, условiя были таковы, что и
найти ее нельзя было. Психологiя пр. Плостого, который
допускаетъ еднѣственно возможную причину невѣрiя — нае-
ланiе принятъ на себя обязанности, возлагаемыя хри-
стiанствомъ, въ китше, очевидно, неприемлима. Для нем-
цкихъ людей, находящихся въ его положенiи, христiанство и на-
шихъ обязанностей не подготовило: для обиженныхъ, негодныхъ
блвчскихъ — все права. И китше это слишкомъ хорошо пони-
малъ. Во все времена, даже извѣснѣе, говорили онъ люди
жертвовали Богу вѣрью, что ничъ найдется дороже. Это же намъ

спрашивает он оттого ли принести в жертву своему Богу? и
 вот какой ^{получается, учено} ~~он~~ ^{отвѣтъ} на этот вопрос: не должны ли мы
 наконец по жертвовать всемъ чужающимся, светскимъ, иезуитамъ
 и иезуитамъ, всеми надеждами, всей второй вкратцу гармонией, въ бла-
 жество и справедливость въ будущемъ? Не должны ли мы по-
 жертвовать самимъ Богомъ, и, изъ жестокости къ себѣ,
 обоготворить камень, глупость, тѣлесность, судьбу, никто? Пожерт-
 вовать Богомъ ради „ничего“ - это парадоксальное таинство
 послѣдней жестокости выпало на долю нашего поколѣнія: мы
все знаемъ кой-что объ этомъ“. Таковъ былъ аттестатъ Кит-
 тин: не пренебреженная обязанность, а утраченное право. „Свободо-
 лобіе нашихъ господъ естественны тѣлесны, нѣ въ моихъ глазахъ
 ни чужда: имъ недостаетъ моей страсти въ этихъ вещахъ, моего
 страданія“ ⁽²⁾, говоритъ онъ въ послѣднемъ своемъ произведеніи
 въ „Антихристѣ“. Обыкновенные равнодушные образованные люди
 къ религіи Киттинъ отчасти знали и чужды оцѣнкой: онъ пом-
 нилъ себя самого въ молодые годы, когда Шопенгауэръ и Ваг-
 неръ ему зачитывали все и, когда подъ грохотъ пушекъ, сопровожда-
 вшихъ ужасную трагедію 70^{го} года, онъ въ цѣлѣ отдаленномъ
 уютихъ Фабровъ ~~былъ~~ ^{учено} и много обождалъ „роман-
 тическую трагедію“. Вотъ его воспоминанія объ этомъ времени.
 Но обыкновенно, онъ говоритъ не о себѣ, а о другихъ - о вѣнцѣхъ,
 объ ученикахъ вообще. Но мы знаемъ уже откуда онъ беретъ

свои свѣдѣнія. „Множѣ тѣмъ, которые въ настоящее время
живутъ въ Германіи вдали отъ религіи — я нахожу людей всякаго
рода и вида „евободомыслия; прелесть всего — лицемерство такихъ,
у которыхъ, ^{и чуждымъ} было даря постоянно и работѣ, изъ поколѣній въ поко-
лѣніе атрофировались ~~религіозныя~~ инстинкты: такъ что они
даже и не знаютъ, зачѣмъ собственно нужны религіи, и
съ бродячѣ тупою удивленіемъ отлѣпляютъ ихъ существова-
ніе среди людей. Они чувствуютъ себя — эти славные люди —
достаточно занятыми своими дѣлами и удовольствіями,
не говоря уже объ „отечествѣ, газетѣ, „обязанностяхъ предъ
собою“; побужденію чужихъ совѣтъ не остается времени для
религіи, тѣмъ болѣе, что имъ не вполнѣ ясно, о чемъ соб-
ственно здѣсь идетъ рѣчь — о нововѣліи или удовольствіи или о
дѣлѣ. Ибо, говорятъ они себѣ, не можеть же быть, чтобы въ цер-
ковѣ ходили единственно за тѣмъ, чтобы портить себѣ на-
строение. И дальше: „рѣдко встрѣчаешь или даже просто набоби-
ный человѣкъ имѣетъ представленіе о томъ, ~~что~~ ^{какъ} именно доброволь-
но — можно было бы сказать добровольной воли — нужно теперь
нѣмецкому ученому, чтобы серьезно отнестись къ вопросу о рели-
гіи; въ силу своего ремесла онъ склоненъ ^{къ религіи и религіи} относиться ^{къ религіи и религіи} съ высокомер-
ной, почти добродушной всеелостью, къ которой приливаетъ
еще и полное презрѣніе къ „неистинности“ ума, всегда предпо-
лагаемой въ чужахъ, не отложившихся отъ церкви. Это изъ

собственная прошлая жизнь, ибо говорится о других, о нем-
 цах вообще, об ученых. А вот заключение, уже из нового опы-
 та: „Находя эпоха пишет свой собственный, боевой вид
 наивности, изобретению которого ей могут завидовать другие
 эпохи: и сколько такой наивности, почтенной, ребяческой и безгра-
 нично глупой наивности ~~много~~ проста в сознании своего превосходства
 у ученых, в добросовестности его терпимости, в той безпечной, не-
 колеблемой уверенности, в силу которой он считает религо-
 зную человека низшим, сравнительно с собой типом, от ко-
 раго он давно ушел — он, маленький, притязательный на-
 сик и плебей, прилежный, добросовестный работник, создаю-
 щий „идеи“, „современные идеи“. Такие же и подобные ~~ра-~~
 размышлениями переполнены книги Ницше. Очевидно, что
 писал его, когда-то настолько положенная теоретическим
 реализмом, эмпирическим изысканиями и искусством,
 что он некогда было и взглянуть в ту сторону, где говорил
 в религиях и в силу этого усвоившая себе обычное в сре-
 ду ученых добродушно презрительное отношение к вопросам
 о Боге, теперь всецело сосредоточена на том, что прежде почи-
 талось несомненным в книжках. „Бога нет, Бог умер“ — эта
 мысль, которая когда-то была им так спокойно принята
 непротестной с чужих слов, теперь возбуждает в нем
 мистический ужас. Вот в каких выражениях передаст

бы теперь ес: „ слышали ли вы отъ былыхъ безумныхъ чело^ввекъ, ко-
торый въ свѣтлой полудни затея гроуарь, вбѣдѣжалъ на рынокъ и
еще непрестанно кричалъ: „ я ищу Бога, я ищу Бога „ — Все вокругъ
него слышались и отъриали. Но „ безумный чело^ввекъ вбѣжалъ въ тол-
пу и, прокизывая свои възгядомъ воскликнулъ: „ гдѣ Богъ?
А вы снасу. Мы его убили — и вы. Мы все убійцы. Но какъ
мы это сдѣлали? Какъ могли мы всплывъ море? Кто дол-
женъ эту убѣду, чтобы стереть краску со всего горизонта? Кто
сдѣлали мы, вторгавши землю отъ ея солнца? Куда идетъ
теперь она? Куда идетъ мы? Протъ отъ солнца? Не пада-
емъ ли мы непрерывно? Идемъ назадъ, въ сторону, впередъ, во
всѣхъ направленіяхъ? Есть ли еще вернь и низъ? Не блуж-
даемъ ли мы въ безконечномъ ничто? Не движетъ ли на насъ
пустое пространство? Не ^{стало-ли} ~~стало-ли~~ ли холодное? Не насту-
паетъ ли все болѣе и болѣе темная ночь? Не приходитъ ли
вредъ была дня закинутъ гроуарь? Развѣ мы не слышимъ шума
молельщниковъ, поребающихъ Бога? Развѣ не доносятся до насъ
запахъ тѣлѣній? и боги истисываютъ! Богъ умеръ! Богъ не
воскреснетъ! Имя его убили! Какъ утѣшится мы убійцы
изъ убійцъ? Своемо^е могущественное и святое существо, ка-
кое только было въ мирѣ истенно кровью подъ нашими ножа-
ми. Кто смостъ съ насъ эту кровь? Какой водой можемъ
мы омытья? Какія почитательныя празднества, какія

свещенная игра нужно будетъ придумать? Развѣ ~~вотъ~~ этотъ
дѣла не слишкомъ громадна для насъ? Не должны ли мы сами
обратиться въ добровѣ, чтобы оказатся достойными его? Не
когда не было совершенно дѣла, болѣе великаго и кто рождается
послѣ насъ этимъ самымъ будетъ принадлежать къ исторіи
вѣковой, чѣмъ вся предъидущая исторія". Зрѣло замолчалъ безум-
ный человекъ и снова сталъ глядѣть на своихъ слушателей;
молки мальчики и удивленно глядя на него. Наконецъ, онъ
бросилъ свой фонарь на землю, т.ч. онъ разбился въдребезги
и погасъ. „Я пришелъ слишкомъ рано, сказалъ онъ. Мое вре-
мя еще не наступило. Это страшное событіе еще въ пути,
еще идетъ! — еще не дошла вѣсть о немъ до человѣческихъ
ушей. Молки и грому нужно время, свѣту звѣздъ нужно
время, и дѣяніямъ нужно время, послѣ того какъ онъ уже
совершилъ, — чтобы ихъ увидѣли и ~~услышали~~ услышали. Это дѣ-
ланіе пока еще дальше, чѣмъ самымъ отдаленнымъ свѣтломъ,
и все такъ — въ это совершили".¹⁾ Въ такія и подробныя
выраженія поворотъ Кипсе о значеніи своего атеніе. Видно,
что все сравненія, которыя приходили ему въ голову, назались
ему недостаточными для того, чтобы поддѣлаться съ людьми
ужаснымъ впечатлѣніемъ опустошенія, которое онъ испытывалъ, ког-
да „увидѣлъ у услышавъ", что онъ былъ убитъ — онъ, который когда-то
утверждалъ, что чужды недостаточны люди, чтобы отдавать се

фантастическимъ существамъ. Очевидно, что любви у него бы-
ло достаточно, много, слишкомъ много и что онъ понималъ хо-
рошо, чѣмъ бы могла быть для него Богъ, если бы ему дано было
верить, что не было надобности въ постороннемъ вліяніи, чтобы
привести Нитше къ верѣ. И тѣмъ не менее онъ не уверо-
валъ и принеся въ жертву все свои надежды на скорую парми-
нію, на блаженство и справедливость въ будущемъ, „Религиозное
сознаніе нашего времени“, которое г-н. Шюстайнъ считаетъ возмож-
нымъ считать обязательнымъ для всехъ, отказалось сослужить
своего службу тамъ, где его приняли бы, какъ благодѣль. Очеви-
дно, что не отъ воли чужда зависить — верить или не верить
и, что соответственно этому, основное положеніе г-на Шюстайна,
въ силу котораго человеку стоитъ только поклоняться и онъ най-
детъ для себя нравственную пору въ жизни, ~~онъ~~ превращается
изъ аксиомы въ теорему или даже — прямо говоря — въ истину,
которая не можетъ быть никакъ доказана. А вѣдь
съ тѣмъ выясняется, что и вся задача, поставленная передъ
г-номъ Шюстайномъ, имъ не исполнена, что онъ счелъ съ себя
обязанность приводить людей изъ религии и впасть въ это
взять себя право говорить имъ да или нѣтъ. И наконецъ еще
разъ то, что говорилъ раньше: г-н. Шюстайнъ считалъ тамъ не
потому, что онъ не понималъ, чего отъ него можно ожидать —
а потому, что онъ не могъ, ни для себя, ни для другихъ, выпол-

жить эту великую задачу. Пусть, кто не верит Китише, не ве-
 рит и г-н. Плоской. Но Китише этого не скрывает (он не скрывает
 другое), г-н Плоской считает возможным не разна-
 зывать своих учеников в той мере в своем сердце к каде
 которой он возвышен стон блещущее в литературном от-
 ношении зданье проповеди. Кто прав - Китише или г-н Плоской?
 Это лучше - читать ли свои сочинения и обращаться к лю-
 дям с "учением", в надежде, что для них этого достаточно
 и что у них никогда не явятся такие вопросы, которые му-
 чали учителя - или говорить кратко? А что, если эти вопро-
 сы придут, возникнут сами собой у учеников? Ученики, конеч-
 но не хотят говорить о том, о чем учитель молчал! Какое
 страшное общество добросовестных лицемеров с своими рте-
 чами и затуманенными головами получится тогда? И разве
 эта, хотя и добрая, честная душа не откажется и в раз-
 ноем молчании? Разве ученики притворной веры неужно кому
 нибудь? Было время, когда люди приводили не религию - да же
 к христианству - огнем и мечом. Теперь - нет. Лишь знают,
 что и нравственный авторитет в этом деле - не позволено
 кое средство. Лишь хотят, чтобы верили так, как верили
 первые христиане, когда пытками принуждали к отречению
 от Христа, когда наука, искусство, авторитет общественной
 власти - все было против нового учения. Только такую веру

мб и так. И, если книги, находящиеся именно в таком
положении, не могут утверждать, для чего это не должно слу-
жить поводом и к проповедям проповедам. Наоборот — здесь
только нужно замолчать — и слушать, для того, чтобы по-
нять, почему прежде бывший сравнительно легким и доступ-
ным, во всяком случае возможным — путь к вере те-
перь оказывается закрытым для тех, кто в ней наиболее
нуждается и тем, кто горячо ее ищет. В таких случаях
глаголь и прожит может лишь тот человек, которому
нужно в себя самом замуровать голос совести. Но
нужно ли это? Не для царя Толстого — он сам зна-
ет, что ~~сам~~ для него лучше — а для его читателей, для
тех сотен и тысяч книг, которые, вынося его судьбу, не
находят в себе силости говорить ~~с~~ собствен-
ными языками и покорно с внешней стороны, но с ужасом
выступающих повторяют недоступные им рты из чуждой про-
поведи. Это называется резким и ^{тоже} требует от
людей, во всем их обязанности, во всем разном вещах, каз-
вающихся хорошими словами. Но, справедливо ли это? Выход,
в конце концов это требование имеет одно основание:
закатить рот несчастным, изгнанным, чтобы всем от-
казываясь до поры до времени спокойной душой. Но, помимо
того, что это несправедливо — это и невозможно. Попытка

г-р. Толстой ограничить сферу дозволенного въ искусствѣ
путемъ введенія новель опредѣленной дурного и хорошаго иску-
ства, конечно, никакъ чему не можетъ привести. Люди всегда гово-
рили и будутъ говорить о томъ, что имъ пошла и въ душа и ни-
какой поэтики, ни аркитотелевской, ни томитовской, не сдер-
жатъ ~~такимъ образомъ~~ ^{занимаетъ} мучь. Но насъ ^{занимаетъ} не это, практи-
ческій этотъ вопросъ. Для насъ представляется неравномерно
болѣе серьезнымъ и важнымъ то обстоятельство, что г-р. Тол-
стой повернулся спиной къ собственной задачѣ, закрывая глаза
на свой вопросъ. Онъ знаетъ, что значитъ искать веры
и не находитъ ее. Это Левинъ, молодой, здоровый человѣкъ,
счастливей семейникъ, близокъ къ самоубійству только
потому, что не можетъ найти Бога. Вправдѣ ли г-р. Толстой
требовать ~~требовать~~ отъ насъ, чтобы мы не погорьковали темъ
правдивости и искренности его словъ, когда онъ утверждаетъ,
что „добро“, „братская любовь“ есть Богъ? Вправдѣ ли онъ разсчи-
тываетъ, что истодованіе, которое онъ изливаетъ на „неве-
рующихъ“ и рецептъ физическаго труда, предлагаемый имъ
намъ наказаніе противъ всего Бога, не покажется намъ толь-
ко ловкимъ — а можетъ быть и нелепымъ — обходомъ собствен-
наго сомнѣнія?

X

Между прочимъ, эти средства не могутъ похвалиться и новиз-

ной. Давно известно, что труд — всякий, не только физический —
отвлекает от размышлений. Уже давно установлено
удовлетворение, что негодованием можно на время подавить какие
либо запросы человеческой души. И не только по поводу нит-
и в наше время, но вот уже много десятков лет люди
разных положений негодуют против Гейне за его „Безбожие“.
Добро бы такими способами бороться со столь широкими сти-
хотворениями, в которых можно еще видеть чуждые
человеку, не знающего „защиты собственному существу“
религии. Но особенно уныли — Гейне не желают про-
стить ~~и~~ именно его последние произведения, произведения
„Matracherzeit“. Очевидно для всех, что у паралитика,
приваженного к постели, не имеющего никакой надежды
на выздоровление, не может уже быть „злой воли“ в небытие.
Такому человеку, впрочем, больше всего в жизни, обык-
новенно „соблазнов“, которыми люди увлекаются из аттизмизма
уже быть не могут. Если же последние минуты жизни
у Гейне происходят неравные приливы и отливы воя, —
если как-нибудь раз в нем резинция слышится протестом
унижения — насильником, то для нас во всем этом только
меньше может быть повода к негодованию, чем сами
мы прочее и удовлетворение верить в то, что знаем
истину. Наоборот даже, с истинно религиозной, возмущен-

кой точкой зренья - настроенія Гейне особенно чужды, и именно
 въ тѣ минуты, когда онъ произноситъ самые поэтически свои са-
 мобы. Столь возмущающіе намеки на историковъ литературы
 послѣ словъ въ „Романъ его“ что какъ хороша правдивая откровен-
 ность, которая въ сущности является первично и обязательнымъ до-
 момъ человека въ отношеніи къ Богу. Гейне говоритъ: „Wenn man
 nun einen Gott begehrt, der zu helfen vermag - und das ist doch
die Hauptsache - so muss man auch seine Persönllichkeit, seine
 Ausserweltlichkeit und seine heiligen Attribute, die Allgüte, die
 Allweisheit, die Allgerechtigkeit u. s. w. annehmen“. Въ точкѣ зренья,
 громко выражаемой пр. Писемскимъ, такіа слова - даже лирики - не по-
 волятельны. Это то, что нужно обязательно замалчивать. А Гей-
 не это говорилъ накануне смерти, въ стихахъ и прозѣ. Размышляя
 о будущей жизни, онъ писалъ:

Auf Woecken sitzend, Psalmen singen
 War auch nicht ~~in~~ just mein Zeitvertrieb.

Или вотъ такіа слова выражаютъ у него среди непереносимыхъ му-
 ченій болѣзни, когда смерть была его послѣдней надеждой:

O Gott, verkünde meine Qual,
 Damit man mich bald begrave;
 Du weist ja, dass ich kein Talent
 Zum Martyrtume habe.
 Ob deiner Inkonsequenz, o Gott,

Erlaube, daß ich staune,
Du schufest den fröhlichsten Dichter, und raubst
Ihm jetzt seine gute Laune.

Der Schmerz verdumpft den heitern Sinn
Und macht mich melancholisch.

Nimmt nicht der traurige Spass ein End,
So werd' ich am Ende katolisch.

Ich heule dir dann die Ohren voll
Wie andre gute Christen—
O Miserere! Verloren geht
Der Beste der Humoristen.

Я привелъ эти коротенькіе отрывки изъ Гейневской прозы и стиховъ послѣдняго періода лишь затѣмъ, чтобъ иллюстрировать характеръ религіознаго сознанія нашего врагени. Гр. Платонъ, какъ и слѣдуетъ проповѣднику, изображаетъ это сознаніе въ абсолютныхъ словахъ, какъ кто-то могущее быть принятымъ и отверженнымъ по желанію. Но, какъ видно изъ признаній Гейне и Китце, желаніе тутъ не при чемъ. Заратустра говоритъ ученикамъ своимъ: „вы еще не искали меня и нашли меня. Теперь вы вступили: отъ того всякая въра такъ мало значить. Теперь я всю вашу потерю меня и найду себя. И когда вы отречетесь отъ меня — я вернусь къ вамъ.“ Для Китце отреченіе естественный, неизбежный способъ вновь обрѣсти ученіе и учителя.

! A. S. L. Von der Lebenkenden Jugend.

и въ этомъ отреченіи — источникъ новой поэзіи, новаго искусства.
 Изъ этого вытекла „Божественная комедія“, которую гр. Толстой не
 считаетъ возможнымъ включить въ свой коротенькій списокъ воз-
 бужденныхъ къ чтенію вещей. Факте, на половинѣ своего жизненнаго
 пути заблудился въ мрачномъ лесу и искалъ, какъ выйдти
 оттуда. Онъ побывалъ за той ужасной дверью, одна кадриль на
 которой приводитъ въ трепетъ тѣло, кому приходилось читать
 ее на языке Данте. Концы все знаютъ: *lasciate ogni speranza*
za voi ch'entrare. Но все, что о фактѣ можно сказать о Мек-
 кире. И его лучшая поэзія (второго періода) вытекла изъ необ-
 ходимости отречься отъ ученій, чтобы свои силы вновь
 обрести. Въ приведенныхъ выше словахъ Заратустра форму-
 лирована эта самая неизбежная для современнаго человека
 стадія развитія. Какъ уже не дано найти, не искали. Отъ
 насъ требуютъ большаго. И мы должны отречься, какъ въ свое
 время отрекался гр. Толстой, какъ отрывается онъ еще теперь.
 Мы должны понять весь ужасъ того положенія, о которомъ гово-
 ритъ нѣтъ словъ безумнаго человека, который скрываетъ подъ
 именемъ Гейне, который испытываетъ за своей дверью факте, изъ
 котораго родились трагедіи Меккира, романы и проповѣди гр.
 Толстого. Въ былые, отдаленныя времена объ этихъ роковыхъ
 тайнахъ жизни знали очень немногіе. Остальные получали
 въру даромъ. Теперь время другое. И религиозное сознаніе добь-

баста иныя пути. Такъ, гдѣ прежде достаточно было пропо-
вѣди, угрозы, нравст. вѣснаго авторитета, — теперь спрашива-
ютъ больше. Не все конечно; большинство и теперь, ~~но~~ дажи
среди „образованныхъ людей“ съ тѣмъ же удивленіемъ внима-
ютъ существованію религій. Поэтому-то искусство, пытающееся
удовлетворить высшимъ запросамъ чловѣческаго духа, не можетъ
быть доступно всемъ. Очки наслаждаются „отравленной совѣстью“
или „разбойничьимъ туркиномъ“ и въ такіе пьесы находятъ
удовлетвореніе, тогда тѣмъ намъ другіе идутъ въ дантѣ, ге-
тѣ, Шекспира, въ греческіе трагикомы, ища чинъ въ тѣхъ
на мучительные вопросы. Гр. Толстой говоритъ, что искусство
въ высшихъ классахъ оторвалось отъ искусства всего народа и
стало два искусства: искусство народное и искусство гос-
подское. Къ тѣмъ — это раздѣленіе почти въ шпиль, неваж-
нымъ признакомъ. Въ предѣлахъ господскаго искусства есть
много, что было бы подъ стѣлю любви людской, если бы не
худшая обстановка и языкъ. А „Макбетъ“, „Лиръ“, „Кром-
велъ“ кажутся скучными многимъ господамъ, которые посѣ-
щаютъ представленія „классическихъ пьесъ только въ виду су-
ществующаго представленія, что онѣ имѣютъ воспита-
тельное значеніе или что-то въ этомъ родѣ. На самомъ дѣлѣ
тѣмъ, кому „отравленная совѣсть“ правитъ и смущаетъ
Шекспиръ наиболѣе благообразно поступилъ бы, если бы

Разве отъ нихъ не вѣетъ настроеніемъ Метерликовской *Sentence*?
Правда, у г-на Толстого въ концѣ разказа есть какъ бы отвѣтъ
на вопросъ. Ивану Ильичу „прочтѣть мѣшаетъ признаніе, что
жизнь его была хороша. Это-то оправданіе своей жизни утѣшало
не пускало его впередъ и больше всего мучало его.“ Все начало разка-
за объясняетъ намъ, почему была нехороша жизнь Ивана Ильича. Онъ
слишкомъ щадилъ себя, слишкомъ оберегалъ пріятности, прилич-
ной жизни, слишкомъ дорожилъ средними благами и только то-
перь, когда подошла трагедія, впервые почувствовалъ, что онъ про-
пустилъ лучшее въ жизни. Но, почему ужаснее это. Почему теперь
ему эта пронизательность, когда все счеты и близкую кончину?
Это отъ того, что въ концѣ дыра, въ которую онъ провалился, за-
вертывается что-то „и что онъ“, вѣрнее узнать настоящее направ-
леніе? Какой отвѣтъ можетъ быть на этотъ вопросъ? „Изба-
вить ихъ (окрещаящихъ) и самому избавиться отъ этихъ стра-
даній“. Только-то? Повторяя слова Ивана Ильича, когда онъ уо-
маталъ, что кто-то надъ нимъ сказалъ: „конечно, „даже“, „кон-
чена смерть, да хоть больше.“ Это это значитъ? Это значитъ, что
боязнь смерти не было, потому что смерти не было. Вѣроятно смер-
ти было съ тѣмъ? Какъ въ своей душѣ г-н Толстой объясняетъ эту
ужасную трагедію и въ чемъ неповиннаго человека? Его отвѣтъ-про-
повѣдь: любите близкихъ и трудитесь. Но объ этомъ его не спра-
шиваютъ, объ этомъ онъ самъ себя не спрашиваетъ. Проклятые

Ивана Ильича, мы вовсе не интересуемся узнать, какъ намъ спастись отъ его ужасной участи. Наоборотъ, выслушать съ Бѣлинскимъ, мы требуемъ отъ него о каждой жертвѣ исторіи, человѣчій и т.д. и не только не отказываемъ лѣзть на верхнюю ступень развитія, но, наоборотъ, готовы просить съ нею выжухъ головой, если намъ не отвѣтятъ за Ивана Ильича. „Смерть Ивана Ильича“, какъ художественное произведение, принадлежитъ къ лучшимъ перламъ толстовскаго творчества. Это вопросительный знакъ, начертанный такой разкой, четкой краской, которая просвѣчиваетъ черезъ все ~~слово~~ ^{слово} нованъ, радуясь красоте проповѣди, которую г-р. Толстой хотѣлъ приудить намъ за обѣтъ свои прошлая солидный. Никакая проповѣдь ему не покоится. Мы будемъ спрашивать, какъ спрашивалъ до сихъ поръ г-р. Толстой, какъ бы онъ не открещивался отъ своего прошлаго, какъ бы не раздвигалъ онъ слово „вина“, какъ бы не грозилъ онъ намъ отлученіемъ отъ нравственности т.е. въ его терминологіи отъ Бога. Мы знаемъ, что это — не такъ, что „вина“ можетъ быть предъ нравственностью, но не предъ Богомъ, ибо нравственность — дело рукъ человѣческихъ. Вотъ любопытный отрывокъ изъ бесѣды между Зоратустрой и старымъ папой, которой „во имя смерти Бога“ остался безъ смысла. Старый папа разсказываетъ о смерти Бога въ такихъ словахъ: „кто хвалитъ его, какъ Бога любви, не доброты и чужды самое любовь. Развѣ этотъ Богъ не хотѣлъ быть такимъ и судью? Любящий же не знаетъ ни казни, ни отлученій. Когда онъ былъ молодъ,

этотъ Богъ изъ восточныхъ странъ, онъ былъ суровъ и истиненъ
и въстрѣчилъ себя адъ, чтобы забавлять своихъ любимцевъ. Потомъ онъ
остарился, сталъ мягкимъ и сострадателънымъ, — болше, какъ грѣхъ,
его же отецъ или, скорѣе всего, какъ старая бабушка. И онъ сидѣлъ, по-
ленивъ, на своей пеклѣ, раздвигая свои старые ноги, уставши отъ
жизни, безсилъ былъ, пока, наконецъ, не задохнулся отъ состраданія...
— Ты, папа, прервалъ его Заратустра, видѣлъ ли ты все это своими
глазами? Могло быть и такъ, могло быть и иначе. Боги умираютъ
разнаго рода смертями. Но-чтобы! Такъ или иначе — онъ умеръ.
Онъ шокировалъ мои глаза и мой слухъ — худшаго не могу говорить
о немъ. Я люблю твоихъ, которые ясно глядятъ и прямо говорятъ.
Донъ — ты знаешь это, старай священникъ, въ немъ было много
твоихъ чертъ, священническихъ. Это можно было разнѣ понимать.
Это часто и ровнымъ названъ было понять. Какъ сердился онъ на
насъ за то, что мы его плохо понимали. Но, зачѣмъ не говорить
о немъ? Если пригласа была въ наши чины, зачѣмъ дать
въ наши чины, которыхъ плохо слышатъ? Была уразъ въ чинахъ
нашихъ? Кто вложилъ ее туда? Слишкомъ много ея дава-
лось этому недоучившемуся горечишу. Но въ томъ, что онъ
идеи свои горшкими, своими творениями — за то, что они не
удались ему — въ этомъ онъ устоялъ противъ порошата вкуса.
И въ благочестіи есть хороший вкусъ, который говоритъ, наконецъ!
прогнѣ — етъ такъ какъ боится! Лучше совсѣмъ безъ бога, лучше на свои

страх устраивать свою судьбу, лучше быть дураком, лучше самому
быть богом! "1)

Пусть читатель не оскорбляется этими словами. Я пишу нарочно
бога с маленькой буквы, ибо здесь идет речь о том боге, кото-
рой равняется добру т.е. о боге, пишущем не с прописной бу-
вы и случающим для проповедников и ирмий, которой они зак-
рываются от учеников своих. Получайте, что откликну на
на Заратустра: „о Заратустра, со слов твоих не говорю — ты
благодетель, чьим ты думаешь. Сам бог обратил тебя к без-
божиям. Разве не благодетель не дозволяет тебе вторгаться в бога?
Чтобы читателю было еще яснее, как пожимать, можно пожимать
и твоего бога, которого пришлось убить, приведу один из
его последних афоризмов, определяющий нравственный миропорядок:
„что такое нравственный миропорядок? Есть раз навсегда
воля Божья, в силу которой одно ^{должно} ~~нельзя~~ глотать, другое —
~~нельзя~~ не должно глотать. Целность народа и отцовской лич-
ности определяются тем, насколько, в какой мере они подчи-
няются Божьей воле! "2) Это именно то понимание, которое пред-
лагает своим ~~ученикам~~ ученикам гр. Толстой. Гр. Толстой
хотел, чтобы его ученики приняли закон, не зная, зачем он,
чтобы Иван Ильич отрекся от искания ересь блан, кото-
рая им дороже всего в мире, прежде чем близки им науки,
что не степенью, приятности изморяется достоинство челове-

1) A. S. L. Ausser Dienst. 2) II. VIII, стр. 247

своего существования. И онъ грозитъ имъ всякимъ запасомъ ва-
работанныхъ традиціонной нравственности угрозъ, онъ хочетъ при-
тѣдять, запугать, ужаснуть ихъ - лишь бы они только исполнили
правила т.е. дѣлали бы то, что имъ въ данную минуту не нужно,
чуждо, к чему, быть можетъ, они когда нибудь сойдутъ путемъ.
Самъ гр. Толстой такъ не жилъ. Онъ всегда дѣлалъ то, что ему
нужно было. Теперь - нравственная жизнь и проповѣдь ему нужны
всего. Это спасаетъ его отъ учительства снова. Но у другихъ - дру-
гое дело. И имъ - решить гр. Толстого никакъ не можно.
Какое-то право имѣть въ называть свою нравственность - Бо-
гомъ и закрывать пути изъумимыхъ дѣятельнаго Бога?
Уже разговоръ наша съ Заратустрой показываетъ намъ, какъ
мало "Богъ-добро" можетъ удовлетворить Китаю, и какъ представ-
леніе о "Богъ-добрѣ" заставило Китае отшатнуться отъ
привычныхъ религіозныхъ представлений. И чудовищно! гр.
Толстой всегда имѣлъ возможность "исправиться". Онъ въ 50
съ своимъ лѣтомъ могъ нарядиться въ мундиръ, пахать, зани-
маться благотворительностью. Но что бы егъ дѣлалъ онъ, если бы
оказался въ положеніи Китае, когда "исправиться" нельзя, ко-
гда возвратъ невозможенъ, когда будущаго нѣтъ, а есть только
прошедшее? (то тогда бы сказала ему формула - "добро-Богъ"?
Это положеніе знаетъ гр. Толстой: онъ написалъ "смерть Ивану
Ильича". Этотъ вопросъ, повторяемъ, просвѣчиваетъ для всякаго, кто

не закрывает глаз, сквозь красноречивую и патетическую форму его проповеди. Но откровенно говорить о нем и при Толстой уже не хочется. Послушайте же Кипино; он нам расскажет все то, что рассказывал бы Илья Ильич, если бы ему чудесно было бы жить в том положении, в каком он оказался, когда понял, что „пропал“, что наступил „конец“, советом „конец“.

~~Феникс~~ 1881

О Боге, таком Боге, который нужен человеку, появившемуся в своем беззаконии, о Боге, который может помочь, как говорит Зейне, Кипино, конечно, не мог помешать. Единственно, что он узнал — это, что потеряли люди, убившие Бога, какую жертву из жертв принесли они, отказавшись от веры. Слишком современный человек, ~~он был~~ ^{бы} все прожитое ищет эволюции, которая представляет нам нашу современную мир „естественно“ развивающуюся из туманов пещеры, а человек лишь звено в этом развитии — как мог дерзнуть он помешать о том, что его лучшей т.е. неудача его жизни могла быть нигде во вселенной найти себе оправдание?! Он знает, что такой взгляд называется антропоцентрическим и свидетельствует только о наивной притязательности безмерно малой частицы на роль последней ~~за~~ ^и цепи мироздания.

Мы все ~~слишком~~ слишком склонны к теории естественного развития и современному человеку ^{нужно} привычное направление восток духовности.

способностей, чтобы хоть отчасти вырваться из ее власти. И мно-
го что проходить у Китише, прежде чем ^{он} рвется отказать
от научных предразсудков позитивизма, тем более, что вози-
мные „положительные“ истины он не может представить ни-
чего, что в достаточной степени удовлетворило бы его новую ин-
стинктивность. Он разбивает прежние рамки, он уже не
хочет ~~и~~ больше „инкогнито“ там, где может догадаться,
но он чувствует, что „все поэты лгут, ибо слишком мало
знают“ и откровенно признается, что „Заратустра — тоже поэт.“
Поэтому, даже в самых последних его произведениях мы на-
блюдаем едешь ~~со~~ противуположающийся влияний. С одной
стороны — „естественное развитие“ и самый безпощадный на-
падки на все попытки представить человека чем-либо
большим, нежели продукт случайной игры
бессознательных сил — как дань воссакной с матерью ма-
тери современной философии и убеждений, что больной не имеет
права ~~быть~~ горить, как и не имеет права быть песси-
мистом. С другой стороны — наемники над позитивизмом,
утилитаризмом и всем, что или сродни, или верождений своей
сильностью превосходящий сама сильная метания человечества. Первое
время своей болезни он все еще надеялся найти удовлетворение
в чистой науке. Он писал: „думаешь ли ты, что такая жизнь,
такая цель слишком тяжела, что она лишена всякой прелесть?“

Значит, что ты еще не узнал, что пить меда больше сладкого,
 чем меда познания и что тяжелей облака ругать только полкви
 ввела, из которых тебе добудешь укрѣпляющее молоко. Пусть
 придет тогда старость и тебе поймешь, что тебе алгобавь голоду
 природы, той природы, которая посредством налагаемых правил
 миром. Эта жизнь, которая имеет свои вершины старости,
 также имеет свои вершины и мудрости этот мажнъ евоитъ
 постоянной духовной радости. И то, и другое, и мудрость и ста-
 рость — ты встрѣтишь на вершине одной горы: такъ сказала
 природа. ~~Пусть~~ ^и пробьет тогда час — не сердце на то — когда при-
 близится къ тебе туманъ смерти. Пусть поощрится ~~твоимъ~~
 усилиемъ будетъ движение въ свѣту, послѣднимъ вздохомъ
 твоимъ — побѣдная пѣсня мудрости¹¹⁾. Конечно он говоритъ о томъ,
 какъ далеки эти слова отъ выражения истиннаго настроенія
 Ницше, что это только „маска“, которую онъ наделъ на себя,
 чтобы не видно было, что онъ, вопреки принятой на себя обязан-
 ности, не можетъ не быть въ душе несимпатиченъ? Эти похвалы
 мудрости и старости у человека, который въ 30 лѣтъ прину-
 дить быть и мудрымъ, и старымъ — ибо какой еще медъ боль ему
 острѣе? — только больше подозрительны, чемъ обильны онъ
 расточаются. Зрѣль Ницше не боялся человеческой прохителности.
 Все плавать мудрости и науку и его голосъ никому не можетъ
 показаться неискреннимъ, кто ничего не знаетъ о его личной судьбѣ.

А может быть вы и надвигаясь въ самомъ дѣлѣ, ~~но~~ что „познание“
затуманитъ въ немъ тоску по утраченной жизни и будетъ, если не
оживительнымъ ключомъ, то ключемъ забвенья, который все же по
своему утолитъ жаръ измученнаго сердца. Но, ^{оказалось, что} наука ~~никого~~ не
могла ему дать. Вотъ что разсказываетъ Заратустра отъ этого
опыта: „слишкомъ далеко застѣвать я въ будущее: мене охватилъ
ужасъ. Когда я отянулся вкругъ себя, и увидѣлъ, что одно время бы-
лъ моимъ современникомъ. Тогда поспѣлъ я назадъ-домой, и все
~~сказалъ~~. ~~Есть~~ торопиться, и торопиться. Такъ пришелъ
я къ вамъ, вы, люди настоящаго, въ страну образованія. Въ пер-
вый разъ открылъ я на васъ свои глаза - и съ добрымъ намереніемъ.
но истинно, съ тоской въ сердцѣ пришелъ я къ вамъ. Но, что
случилось со мной? Какъ ни странно мнѣ было, я принужденъ
былъ ^{раз} (сильнѣе). Иногда глазъ мой не видѣлъ ничего, столь нестро-
го рисованнаго. Я слышалъ, слышалъ, въ то время какъ нога моя
еще дрожала, а съ ней и сердце мое. „Здѣсь родина всякъ раскрашен-
ныхъ торжковъ“, сказалъ я себѣ. Съ лицами, и ~~и~~ членами, измазан-
ными пятидесятью красками - такъ сидѣли вы, къ ~~мо~~ моему удив-
ленію - вы, люди настоящаго! И съ пятидесятью зеркалами
вкругъ себя, которые лѣтили вамъ, расхваливая игру вашихъ
красокъ..... Кто сжиметъ съ васъ покрывала и мантии, краски
и гримасы, тотъ увидитъ лишь пугало чужаго пѣнца. Но истинно, а
самъ испуганная птица, я видѣлъ васъ откуда-нибудь нагими, безъ

Ваших красок и я чистюль отъ васъ, манъ уютюль бы отъ скелета,
 предложившаго мнѣ свою любовь. Охотнѣе готовъ я быть поединникомъ
 въ аду и уютюль прощанаго. Обитатели подземнаго мира плотны и
 полны, уютъ ва..... Ни слѣдствъ и чужды мнѣ люди настоящаго,
 изъ которыхъ еще недавно влечло меня мое сердце, а изнанъ изъ
 странъ отцовъ и матерей нашихъ. Но я люблю еще страну дѣтства
 нашихъ (Kinderland), - еще не открытыя лежащую въ далкомъ
 морѣ: ее я велю искать парусамъ своимъ. ⁴¹⁾ Такъ оправдались на-
 дежды Кнѣзя на науку, на тотъ сладкій медъ познания, о кото-
 ромъ онъ старался такъ краснорѣчиво говорить въ „Mensch. Allzu-
 menschliches“. А онъ шелъ къ ней съ лучшими намереніями и ни-
 чего такъ не боялся какъ развѣтароваться въ этихъ своихъ на-
 деждахъ. Наука показала ему скелетъ! Онъ охотнѣе готовъ
 быть поединникомъ въ царствѣ тѣни, уютъ жить съ любовью на-
 шего времени. Скажутъ, что въ этомъ его собственная вина: за-
 уютъ ожидать онъ отъ науки того, что она дать не можетъ?
 Но куда идти современному человеку? Гдѣ искать спасенія? И
 развѣ среди ученыхъ бы не утѣшилъ, что или гдѣ-то или наука
 вообще всего, что есть, можетъ быть въ мірѣ? И развѣ не
 естественно человеку въ положеніи Кнѣзя, идти спасаться
 къ науцѣ, ~~и~~ послѣ того какъ дошла до него вѣсть, когда онъ
 „увидѣлъ и испугалъ“, что „Богъ умеръ“. Онъ искалъ возрѣ, гдѣ
 могутъ искать люди, мнѣ всюду, гдѣ моя ^{надежда} ~~надежда~~ ^{найти} ~~найти~~ ^{принять} себя.

I d. S. Z. Vom Lande der Bildung.

И из ученых он явился с лучшими намерениями, без всякого
желания критиковать, проворать, насмехаться. Он утешал^{ся}
себя, что хотя бы слагать меда, хотя мед познания - и
почти познания разумной науку - ту науку, которая до него
существовала и которая, он надеялся, может утешить его
духовную жажду. Нисколько этот порядок вещей он, приравни
изощрили губили из позитивизму, все ожидая, когда, наконец,
поймет из того, что он называл "тяжелыми впечатлениями грусти"
такое нужное ему "укрепляющее молоко". Удивительно-ли, что
он принужден был считать, как и было ему тяжело? !
Удивительно-ли, что впоследствии он называл Миллера "оскор-
бительного качества", Спенсера, Дарвина - посредственными ан-
гликанами? Он не мог отказать им в даровитости, та-
лантливости, проникновенности - но всею тем он уже не захватил,
как когда-то, в былые времена, когда науку он считал на-
стоящим т.е. лучшим, что может быть в жизни. Преград, по-
бороть, ясность и законченность ученых систем оскорбляет
его. Он не может понять, как это люди интересуются
логическими построениями, обозрением внешнего мира, - и
не чувствуют того, над чем они сами изстрадались и изму-
чалась, и равнодушна к тому, от чего они приходят в ужас;
ему кажутся младенцами те ученые, которые, прожив до глубокой
старости, могли за своими занятиями проглядеть трагедию

нашего высшего существования, открывшуюся ему при столь истинно-
чуждебных условиях. И он, уйдя из дому ученика и захопнувшись
за собой оверс "9

115

Своими отношениями к науке Нитше оскорбил профессиональных уче-
ных всех отцов, ибо он равно отшатнулся и от позити-
вистов, и от материалистов, и от идеалистов. Отсюда и тот особен-
ный тон, который говорит в Нитше кельменсе профессора. И можно
сказать, что Нитше ушел от науки не потому, что ему
некого было у него брать, а потому, что он не ушел брать — было
слишком холодно, нетерпеливо, порывисто и т.д. — и потому он, от-
давая справедливость его публицистическим талантам и даже
входя в трагичность его положений, придает своим суждени-
ям о нем характер сознания свое превосходство исключитель-
ности, исключаясь всякую любовь к тому, что переживает Нитше.
Может случиться испытанием правомерности притязаний науки.
Нитше для них блестящий писатель, но не философ. Он — "со-
ставитель афоризмов", ему не доставало синтетических способ-
ностей, он не умел обобщать в одно целое свои отрывочные
наблюдения. У Нитше, конечно, как и у всякого человека, есть свои
недостатки. Но то именно, что ставится ему в упрек интелли-
генции составляет, быть может, одно из родных его достоинств.
Никто не интересуется, не знает всего, быть может, человек слово фи-
лософа, осмысливая и говоря, не отрываясь все время кат

U. S. Z., Von den Gelehrten.

Гит

что нам было уже прежде сказано изъ боязни, что не получится
той логической цельности, которая навязывается всякой филосо-
фии, как *conditio sine qua non*. Законченность, систематичность
сорокина ~~и~~ вещь, если она является сама собой, если проти-
воречия въ философской теории негламиваются опытной рукой,
как это обыкновенно бывает, а оказываются по существу
невозможными. Но, последний случай — почти немалый. По
крайней мере, до сих поръ не было ни одного такого философа,
который не связалъ-бы себя, ради синтеза, какой нибудь одно-
идеи. При такихъ условияхъ теория обязываетъ говорить не
то, что видишь и чувствуешь, а то, что не противоречитъ разъ-
высказанному утверждению. Боюсь того, философы, съ разъ сложив-
шейся теорией перестаютъ видеть и чувствовать все то, что на-
вязывается въ устанавливаемыхъ нормахъ. Въ этомъ отно-
шении Китайские свободные группы и этики еще отчасти обя-
заны афористической формой изложения, принятой ими, Гибитъ
могутъ, и противъ воли. Они занесли на бумагу много и впе-
чатлительны мысли, какими они ихъ испытывали, не сводя ихъ
въ систему. И читателю, конечно, много полезное самому испол-
нить работу синтеза. Придется потрудиться — но зато есть уве-
ренность, что Китайцы не утративали своихъ мыслей и не придумывали
неправды изъ боязни быть негодяевами. Если-бы
логическая неощущенность теоретиковъ сводить къ себѣ

от истинности или ~~сущности~~^{учения}, тогда конечно отсутствие системы
 у Канта обличало бы всего философию ваяний недостаток. Но,
 мы знаем, во всем секрет философии, "целостности". Уже и одно
 то обстоятельство, что можно назвать целый ряд теорий, совер-
 шенно противоположных одна другой, и тем не менее одина-
 ково послуживших построениям, научает нас не слишком
 гордиться этой второй философской концепцией; - больше того,
 даже тяготиться ею. Если философия становится очень посто-
 янственно и удобоупотребительна, мы почти что чувствуем в этом
 лишнюю сложность и только еще внимательнее настораживаемся,
 тем знаем, что его полезность не даром или добута и во вся-
 ком случае взята или не из природы разбирания или
 явлений (особенно, когда дело касается сложной и трудной во-
 просов). Мы хотим, чтобы возможная степень посто-
 янственности, явилась сама собой, как следствие того, что
 думает, видит, чувствует - один человек, если уже нельзя мечтать
 о том, чтобы систематичность обуславливалась действительной воз-
 можностью охватить рожительно все, что поддается философскому
 исследованию. Работа же над устранением противоречий нам
 кажется опасной и рискованной, ибо, волею неволею за чертой системы
 останется многое, чего бы отбрасывать ни в каком случае не сто-
 вало. Поэтому, упреки, посылаемые кем-нибудь прогрессорам по адресу
 Канта могут быть справедливы только в слабой степени, поскольку

Сейчас

онъ пытался пристыгнуть их своимъ взглядомъ & истинно въникши
обоснований. Но, какъ было уже замечено, Кутше рядомъ прибралъ
ихъ такими приемами и лучше всего ихъ просто, игнорировать,
какъ напримеръ такъ усердно опровергаемая критикой диалогиче-
скій соображений относительно словъ „бонус“ и „талис“. Намъ важ-
ны не тѣ соображений, которая онъ придумывалъ, а тѣ мѣла и
существа, которая онъ переживалъ. Если ему пришло въ непа-
мять различия, часто противу положивъ настроекъ - ~~тѣмъ~~
~~тѣмъ~~ и онъ не побоялся откликнуться и тѣ и дружи - тѣмъ
лучше для насъ. Мы сами уже должны уметь, сообразуясь съ об-
щности характеромъ переживаний человека, отделить постоянные
и важное отъ случайного и неважного, дакое не ~~соотвѣчаетъ~~ ^{считается} съ фактомъ,
что онъ самъ хотѣлъ поставить на видъ, ^{что онъ самъ} ~~хотѣлъ~~ въ себѣ поим-
бовать. Ибо, говоря словами Кутше, „лучше ^{это} ~~то~~ что есть въ тебѣ,
тѣ самъ не знаешь“ - другие легче это могутъ узнать. Въ кон-
цѣ концовъ у насъ, конечно, получила чуждость впечатлений - но
не политическая, а психологическая. У насъ будетъ не законченная си-
стема, а законченный человекъ, что, само собою разумеется, не
значитъ одно и то же.

и такъ, наука, ^{ка} ~~она~~ которую Кутше возматъ такъ много надеждъ,
которая должна была замѣнить ему все радости жизни, все утѣши-
тельный религии, не могла и не могла дать ему ничего. Но, что ему нуж-
но было, въ ^{науку} ~~религии~~ не было. Для того, чтобы читатель могъ судить

Сентябрь 190

Наша у Сетте

68.

о душевномъ состояніи Нитше. Въ тотъ періодъ, когда онъ перебрался
отъ одного святаго мѣста къ другому, въ тщетномъ гонимъ наитіи,
наконецъ, себя успокоивъ, онъ привелъ одинъ небольшой отрывокъ
изъ „апокрифа Заратустра“. Среди разговора съ карликомъ о „брос-
номъ возвращеніи“ до Заратустра вдругъ донесся страшный вой собо-
ли. „... Куда исчезъ карликъ и перекрестокъ, и паучъ? И наши пе-
решептыванія? Было-ли то во сне? Или на яву? Я увидѣлъ вдругъ,
что стою среди дикихъ скалъ, одинъ, облитый пытливыми лучами
свѣта. Но звать же легкаго человѣка. И собака съ визгинившей
шерстью протала и визжала; когда она увидѣла, что я подошелъ,
она снова завала, она закричала: никогда не приходило въ голову
мнѣ, чтобъ собака такъ звала на помощь. И по истинѣ, никого
подобнаго тому, что я увидѣлъ, не видѣлъ я никогда. Я увидѣлъ
многодари пастуха, задыхающагося, екорившагося, скрючившагося,
съ прекосившимся отъ ужаса лицомъ. Изъ рта его висѣла черная, тѣ-
лесная змѣя. Видѣлъ-ли я когда нибудь столько отвращенія и
блуднаго ужаса на одномъ лицѣ? Онъ вѣрно спалъ и змѣя вползла
ему въ ротъ и впиалась въ него. Моя рука свѣтила змѣю, чтобъ отор-
вать ее: напрасно. Я не могъ оторвать змѣю. Тогда что-то при-
кнуло изъ меня: откуси, откуси. Откуси ей голову, такъ принудила
меня мой ужасъ, моя ненависть, мое отвращеніе, мое состраданіе, все,
что есть во мнѣ дурнаго и хорошаго. — Въ, съгнанные плечи! Въ искантѣ,
въ искантѣ, въ, которые вѣвзываютъ на хитрыхъ парусахъ

въ жизнь добанная моря! [Въ, радующиеся загадкамъ!] Разгадайте
лишь эту загадку, которую я тогда выдалъ.... Кто былъ этотъ
человекъ, которому близка въ ротъ жизнь? Кто былъ тотъ чело-
векъ, которому все самое тяжелое, самое черное вошло въ душу?"¹⁾

Тяжелые образы посещали Кутуже всего странствованиями. Могутъ,
могли его успокоить толстовские рассказы, "Наказский панихида"
и т.п. или разсуждения о добродетели или наука? Не ^{правда} ли онъ былъ,
кто отворачивалъ отъ всего этого и пошелъ по своему пути?

XII

Кутуже былъ и у "добра" у толстовскаго добра и, быть можетъ,
это наиболее лучшая страница его "лучительной" повести.
Кутуже потянулъ, какъ помыслилъ читатель, "сдобное и близкое"
заполнить свое существование, закрыться отъ грозныхъ призраковъ, по-
стывшихъ ему. И вотъ что изъ этого вышло. Добро сказалъ ему: "всѣ
убьете въ близкомъ отъ самихъ себя и хотите изъ этого еще
евою доброту тѣмъ сдѣлать: но я назову вашу вашу самоотреченіе."²⁾

Тяжелые языкомъ заговорилъ добро къ человеку, предъ которымъ
были закрыты двери всего убывающаго, изъ людей обыкновенно напо-
даютъ себя успокоеніе. Кутуже, никого не убивши, никого не обидѣв-
ши, ни въ чемъ не провинивши, могъ вѣдать за Макбетовъ пов-
торить его страшныя слова: "зачѣмъ не могу я произнести имени? Я
такъ нуждаюсь въ милосердіи Бога!" Онъ говорилъ про себя: "по худ-
шимъ вѣрающимъ, какому можешь ты только вѣротнѣ, всегда будешь

¹⁾ H. L. Vom Gesicht und Räthsel ²⁾ H. Von der Nächstenliebe.

та сама; сама станемъ та вьспоклвати себя въ пещерахъ и пьсахъ....
 Та будемъ для себя и еретичомъ, и вьдвѣкой, и предвзвѣтствомъ, и глуп-
 цомъ, и сопитъ вьдвѣтствомъ, и нечитавомъ, и злодѣемъ. Та домыслимъ сторути
 на своемъ собственномъ пламени: какъ хотимъ обновиться тѣ, по обратив-
 шимся прежде въ ~~пещеру~~ ^{пещеру}? "1) Узнаемъ-личителемъ въ тѣмъ и харак-
 теръ тѣмъ прочей стараго знакомого, судьбу, который продолжалъ, по
 нашимъ представленимъ тѣмъ "фуртвѣ", "виноватомъ людемъ"?
 Если не узнаемъ, то приведемъ еще одинъ отрывокъ, въ которомъ все
 особенныя черты "на историческаго императива", травившаго до сихъ
 поръ по нашимъ и кантѣвскимъ понятіямъ тѣмъ карущителю-
 правилъ, сказываются съ особенной силой. Цитируемъ его въ подлин-
 никъ, ибо переводъ никогда не сохранитъ инерціи и страстности ориги-
 нала, тѣмъ въ данномъ случаѣ имѣетъ рѣшающее значеніе, ибо гово-
 ритъ о канторичности императива:

Wille Jemand ein wenig in das Geheimniss hinab und
 hinunter sehn, wie man auf Erden Ideale fabrizirt? Wer
 hat den Muth dazu?... Wohlan! Hier ist der Blick
 offen in diese dunkle Werkstätte. Warten Sie noch ei-
 nen Augenblick, mein Herr Vorwitz und Wagehals: Ihr
 Auge muss sich erst an dieses falsche schillernde Licht
 gewöhnen... So! Genug! Reden Sie jetzt. 'Was geht da
 unten vor? Sprechen Sie aus, was Sie sehen, Mann der ge-
 fährlichsten Neugierde - jetzt bin ich der, welcher zuhört.'

Ж. Vom Wege des Schaffenden.

„Ich sehe nichts, ich höre um so mehr. Es ist ein vorsichti-
ges tückisches leises Munkeln und Zusammenflüstern aus
allen Ecken und Winkeln. Es scheint mir, dass man lügt;
eine zuckrige Milde klebt an jedem Klange. Die Schwäche
soll zum Verdienste umgelogen werden, es ist kein Zweifel
es steht damit so, wie Sie es sagten“

- Weiter!

- „und die Ohnmacht, die nicht vergilt, zur „Güte“; die
„ängstliche Niedrigkeit zur „Demuth“; die Unterwerfung
vor Denen, die man hasst, zum „Gehorsam“ (nämlich gegen
Einen, von dem sie sagen, er befehle diese Unterwerfung, -
sie heißen ihn Gott). Das Unoffensive des Schwachen,
die Feigheit selbst, an der er reich ist, sein An-der-
Thür-Stehn, sein unvermeidliches Warten-müssen, kommt
hier zu guten Namen, als „Geduld“, es heisst auch wohl
die Tugend; das Sich-nicht-rächen-Können heisst Sich-
nicht-rächen-wollen, vielleicht selbst Verzeihung („denn
sie wissen nicht, was sie thun - wir allein wissen es, was
sie thun!“). Auch redet man von der „Liebe zu seinen Feinden“
und schweigt da bei.“

- Weiter!

„Sie sind elend, es ist kein Zweifel, alle diese Munkler
und Winkel-Falschmünzer, ob sie schon warm bei einan-

der hocken - aber sie sagen mir, ihr Elend sei eine Auswahl und Auszeichnung Gottes, man prügele die Hunde, die man am liebsten habe; vielleicht sei dies Elend auch eine Vorbereitung, eine Prüfung, eine Schulung, vielleicht sei es noch mehr, - Etwas, das einst ausgeglichen und mit ungeheuren Zinsen in Gold, nein! in Glück ausgezahlt werde. Das heissen sie „die Seligkeit“.
- weiter!

„Jetzt geben sie mir zu verstehen, dass sie nicht nur besser seien, als die Mächtigen, die Herrn der Erde, deren Speichel sie lecken müssen (nicht aus Furcht, ganz und gar nicht aus Furcht! sondern weil es Gott gebietet, alle Obrigkeit zu ehren) - dass sie nicht nur besser seien, sondern es auch „besser hätten“, jedenfalls einmal besser haben würden. Aber genug! genug! Ich haete es nicht mehr aus. Schlechte Luft! Schlechte Luft! Die Werkstätte, wo man Ideale fabriziert - mich dünkt, sie stinkt vor lauter Lügen.“)

Может-ли быть хоть на минуту сомнѣніе, что такъ говорить? Тут еще, если не у Шенникованаго Мандега чувствуется такое настроеніе ужаса предъ самимъ собой? Кто не признаетъ въ этихъ словахъ голоса совѣсти, угрозы совѣсти? Похоже на этотъ разъ - совѣсть принялась за совѣсти несвойственное ей дело. Вмѣсто того чтобы хорить, проклинать, предавать

анаемъ, отлучатъ отъ Бога и людей человека за то, что онъ
былъ „гуривилъ“, она презираетъ его за то, что онъ былъ „хоро-
шимъ“. Визгосто того, что въ ставитъ ему въ вину, что онъ былъ
^{Золотой} ~~Золотой~~, торгашемъ, мстительнымъ, исподтищнымъ, празднымъ - она
его упрекаетъ за то, что онъ былъ смиреннымъ, добрымъ, кроткимъ,
трудолюбивымъ, почтительнымъ. Оказывается, что совесть бичуетъ
не только за то, что человекъ преступилъ „правила“, но и за
то, что онъ относился къ нимъ со всякимъ такимъ уваженіемъ, ко-
торое говоритъ Кантъ. И сила его упрековъ не только не ос-
лабываетъ, но, покаяніи даже растетъ. Мученія Нитше-уче-
ниа переживания Макбета. А „греховъ“ за нимъ - нѣтъ. Это
онъ только разсчитывается за свои пороки, что онъ
лишь подводитъ итоги, во что ему обошлось это „доброе имя“.
Въ такой роли до сихъ поръ совесть откровенно еще не вступ-
пала: развѣ ~~фа~~ ^{Фа} ~~Юльке~~ въ первой части „преступления и нака-
занія“, но за то въ второй половинѣ этого романа она
вполнѣ оправдываетъ свое прошлое, становится вконецъ на за-
щиту всегда бывшаго ей любезнымъ „правила“. У Нитше-чи
этого нѣтъ. До конца жизни совесть говоритъ въ немъ про-
тивъ всего „добраго“, что было въ немъ и приводитъ его, какъ-
то, къ признанію, что все „хорошее“ - „дурно“ и наоборотъ.
Изъ этихъ настроеній вытекла его философія и, конечно, „опровер-
женіе“ ее - какъ это делаютъ немецкіе профессора - указаніемъ

на то обстоятельство, что Нитше не догадывается, насколько "поки-
нула" Нитше, менее всего чужестранно. Не в Нитше тут дело. Пред-
нами франкты необычайного, огромного значения: собственность возмущала
в человеке против всего, что было в нем "добрым". Они требуют
от нас, чтобы мы вновь пересмотрели все обычные наши предтав-
ления о добре и зле, закрававшие душу от наших глаз психо-
логическими людьми, подобными Нитше. Повторяю- ошибочно ^{думается} (что Нитше-
ский переживания являются единственными в своем роде нова-
ми, небывальщинами. Наоборот- быть может они поразительно встре-
чаются, чем мы привыкли думать. Но их обыкновенно замалчива-
ют. Они смущаются перед ошеломляющим или всеобщим осуж-
дением. Заслуга Нитше лишь в том, что он осмелился
поднять за них свой голос, сказать про них то, что другие
говорили лишь про себя, чего другие и про себя говорить не
смели, ибо боялись даже назвать собственными именами
то, что происходило в их душе. Быть может и сами Нитше
были бы менее смелы - если бы они не находились в положении
человека, которому уже нечего терять, у которого нет выбора. "Кук-
ло эту опасность видят вблизи, боятся - нужно на себя ее пере-
жить, нужно быть изъ за нее на краю гибели, для того, чтобы
бы понять, что это не шуточное дело ¹⁾ говорит он по поводу
теологического инстинкта о том, что с ним связана нравственность.
Всегда же была эта опасность, от которой чуть не погиб Нитше?

Какъ всегда, — наиболее важное и значительное въ жизни писателя событие остается для насъ тайной. Въ пояснение приведенной выше цитаты мы можемъ лишь выписать другіе отрывки изъ его произведений; но и въ нихъ мы найдемъ лишь признанія общаго характера. Конкретный, действительный фактъ, по всей вероятности, никогда не будетъ названъ своимъ настоящимъ именемъ. Какое „*innere Verwundung*“ кроется подъ всеми признаніями Ницше? Въ этомъ ужаснаго, какъ помнитъ читатель рассказываетъ о психологии великихъ людей — но все-таки въ относительно общихъ словахъ. Какъ ни трудна такая признания даже тогда, когда ихъ даютъ въ непрямой форме, — но ихъ все-же легче вверять изъ себя, чѣмъ рассказать о действительныхъ своихъ переживанияхъ.

Ницше спрашиваетъ: „въ чемъ твоя величайшая опасность?“ и отвѣчаетъ: „въ состраданіи“. Рядомъ съ этимъ другой вопросъ: „въ чемъ проявляется высшая гуманность?“ отвѣтъ: „*Jemandem Scham ersparen*“^(*). Очевидно, состраданіе и стыдъ поубили его. Впоследствии, когда онъ вспоминаетъ, что главнымъ въ немъ состраданіе и стыдъ, эти исповидельные агенты правдивости, воплощающіе собою внутреннее принужденіе, его охватываютъ мистическій ужасъ и то отбращеніе къ морали, въ *repentant* къ которому можетъ быть приведено только отчаяніе самихъ страдальцевъ преступниковъ при воспоминаніи о совершен-

испытать или злодействовать. Я говорю, "самые страшные" т.е. та-
кие, для которых ~~и~~ ^и не может быть спасения, кото-
рые знают, что они на веки погубили свою душу, что они пре-
дана на всегда во власть сатаны, говоря языком Мандея, —
ибо обыкновенное учора совести, даже у глубоких и смелых
людей не могут пойти в сравнение с переживаниями Кипсе.
Мы знаем исповедь пр. Платона, мы понимаем из какого
построения соимпретивной родилась "крейцера соната". Но эти
все еще не то. Пр. Платон ~~в~~ ^{на} находил под музыку кон-
цертной и за работой в поле не только успокоение, но и утра-
ду — ^{бы} ^{хотел} (лишь и на время. У Кипсе-же под наводой стир-
кой его ощущений обстоит измученная и истерзанная душа, ко-
торая знает, что ~~и~~ ^и не может быть для нее милосердия
на земле. И ест "вина" лишь в том, что сострадание и
стыдь иль или слишком большую власть над ней, что она
видела в правдивности — Бога и повторила в этого Бога
наперекор всем основным инстинктам своим. ...

Пр. Платон теперь говорит, что, "добро — есть Бог"! Это произошло
жизни, со своей опатю были таковы, что повторить возвраща-
ющей принцип он не мог. Хотя он и искал добра всю свою
жизнь, но, как полнителитель читатель, он всегда устал и унывает
это добро на проклятого поиске собственных нужд. Смотря по обстоя-
тельствам, он то его востановил, то обрывает, т.е. он не

сильно отказать въ своемъ благословеніи Левину даже тогда,
когда онъ, добротѣ и состраданію истаде, которое когда-то такъ
мучали его, принимать на столько скромный и безобразный видъ,
что могъ свободно фигурировать на страницахъ, Русскаго Извѣстнаго.
У Китисе этого не было. Со всею наивною безпечностью и гори-
чей верой истиннаго идеалиста онъ и душу и тѣло свое от-
давалъ своей святости. И тѣмъ не менѣе цуроръ совѣсти, прес-
ледовали его со всею тѣю силой, въ которой повѣстываетъ Шекспиръ
въ „Макбетѣ“. И не за то, что онъ не поступался добромъ, а за
то, что онъ жестко и гордо - предъ дружиною и предъ самимъ собою
исполнялъ свой „долгъ“. Если внутренний голосъ является рѣши-
тельнымъ судьбой прошлой жизни человека, если „душевная мука
раскаянія“ являются показателемъ въ вопросѣ добра и зла,
какъ утверждали до сихъ поръ философы и психологи, то если
приговоръ „категорическаго императива“ не является надъ го-
дой высшей интуиціи - то который Китисе проливаетъ совер-
шенно новый свѣтъ на наши представленія о морали. Все
тѣ настроенія, которыми до сихъ поръ поддерживались су-
веренная правда нравственности, которыми можно было прозвать
безпокойство ослушниковъ категорическаго императива, они
запались безличными, двуличными чувствами, одианово рѣшительно
исполняющими свои инквизиторскія обязанности, независимо
отъ того, исходятъ ли приказы отъ оскорбленнаго добра или

пренебрежительно. Больше того, повторить это, у пр. Толстого нѣтъ того чувства предъ своей грѣховностью въ прошломъ, какъ у Китице при воспоминаніи всего праведной жизни. Пренебрежительно „добро“ простило пр. Толстого, когда онъ разнакая и сталъ свидѣтельствовать противъ своего прошлого; но зло не пошловало Китице, хотѣ онъ отрекся отъ своей праведности и прославлялъ грѣхъ въ такихъ странныхъ и нелепыхъ, какіе и на долю добра, такъ издаловатинаго въ этомъ отношеніи, не часто выпадали. Во всякомъ случаѣ нѣтъ минутъ ~~сознательной~~ жизни Китице, во всемъ, что онъ писалъ чувствуется такое глубокое, такое безвыходное отчаяніе отъ сознанія, что нѣльзя жить съ собою позора прошлой добродѣтели, отъ котораго бросаетъ въ уродливую чужую оболочку, гонимая, какія переживанія таковыя подъ бѣгущими рогами несчастнаго писателя.

И правдою Китице нигдѣ почти прямо и открыто не признается въ своемъ прошломъ: такое прошлое не признается. Наоборотъ онъ всеми силами старается скрыть свои переживанія и ничего не пишетъ больше его измученной души, чѣмъ надежда остаться неразгаданнымъ. Когда Брондеа называлъ его ученіе „аристократическимъ радикализмомъ“ т. е. приписывалъ къ Китице два пошлыхъ или опошленныхъ слова (у чужаго критика не почтѣнъ чужихъ чужихъ словъ), даже

съ стороны не характеризующих философию Ницше,
этот последний был в восторге и утверждал, что это
самое удивительно, что он способен в себе. Вспомните, во ~~именно~~ ^{Брандеса} словах

Ницше видеть лишь доказательство, что его цель достиг-
нута, что люди настолько ослеплены литературой, что
не думают о нем самом. А это именно ему и нужно
было. Он был больше боялся быть разгаданным и потому
придавал своим признаниям таиную форму, будто они ни-
какого отношения не имеют к жизни. Брандес, сам всегда
пишущий о том, что к нему никакого отношения не имеет,
спокойно пишет, что „аристократический рационализм — это все,
что можно найти у Ницше. Как мало таких слова объясняют
Ницше или, вернее, как далеко они уводят от Ницше, может
показать следующая отправка из одного его адресата: „бывают, ве-
селые люди, которые пользуются бесчестьем, как средством, ибо благо-
даря ей они надеются остаться непонятыми: они хотят быть не-
понятыми. Бывают ученые люди, которые прикрывают наукой —
ибо наука придает веселый вид и, заткнув, ученость наводит на
либидь, что человек поверхностен: они хотят привести к ошибочному
заключению. Бывают сильные *libres esprits*, которые бы хотели
скрыть от людей свои разбития, горюха, неизлечимая сердца (цинизм
Ламарета, случай Ламарета), — иногда даже глупость считают таковой
для несчастного, слишком несовершенного знания (*unseliges allzu geringes*

¹⁾ N. W. VII, 259. ²⁾ Ye. imp. 268

ности обязательно основывались на том же предположении, а Канту только принадлежат термины, категорический императив — ро твое порче тогда зрелище Нитше была радикально невозможна. Если только „добро“ ограничено утратой совести, то, очевидно, оно должно быть сведено в особую категорию, хотя бы тысячу раз было доказано „естественное“ происхождение нравственных представлений. Изследователи античных философов и психологов служат наилучшей иллюстрацией этому. Если нравственность — только переряженная польза, если она — только выражение общественных отношений, то, очевидно, у нас должны быть отняты все ее святые атрибуты и ее нужно поставить в уровень с чисто полицейскими распоряжениями (тоже очень полезными, давая необходимые), ограничивающими порядок и безопасность людей. Но вера в святость нравственности была так глубока, убеждение в том, что „чистая совесть“ — самое драгоценное сокровище в мире, последняя и самая прочная опора человека, — на столько срослось с обычными представлениями людей, что античными мыслителями не могло даже и на минуту прийти в голову подозрения, что ~~нравственность~~ объясненная нравственность может лишиться того престижа, которой имела нравственность необъясненная. Они были вполне убеждены, что никакие теории не могут разрушить обаяния святости морали — и именно потому так безбоязненно называли пользу прародителей нравственности. Их изследованиям вовсе не была своей задачей проверить законопослушность приказаний нравственных людей на

исключительно привилегии душевного спокойствия, всеобщего ублажения и т.д. Это ~~то~~ значило бы вознестись на самость себя - чего добровольно никто не делает. Если и писалась книжками - то исключительно с научной, т.е. невинной целью, из безнечной любознательности, зараньше уверенной что серьезные охерты от нас не потребуются. Вопросы шалы только о торжестве постороннего, чуждого близкого философского принципа, непосредственной связи с личной судьбой философа не имевшего. Есть ли нравственность потопомъ польза или дитя интуиции - все равно она оставалась в одинаковомъ почете и результате изыскования или ^{не могъ} ^{самого} ~~образомъ~~ ^{передвинуть} философа из разряда добрых в разряд злых, что готовит ему мандатовские терзания. Милль или Спенсер да же для форжа не ставили такого вопроса: точно ли намъ полагается быть спокойными, а преступникамъ - угрожать? Такой вопросъ они считали бы "безправственнымъ": это значило бы сомневаться в томъ, что в нас - добро или зло. А в это они не только не сомневались, но даже не знали, что в это можно сомневаться, что кто-нибудь когда нибудь уродится в этомъ. Они говорили лишь в томъ, почему добро выше зла и то не за темъ, чтобъ утвердить себя в своей правоте, а лишь в силу привычки ввиду представлять это "почему", ^и ^{то} только его можно ^и ^{то} нибудь приладить. Но за всемъ темъ они были глубоко уверены, что святая прерогатива нравственности останется сохраненною, к намъ бы результатами не привели или изыскования, и что Мандатовские истории останутся на всегда для Мандатовъ и ихъ, философовъ, никаких

образом поступать не могут. Поэтому, Нитше был совершенно прав, утверждая, что он первый возбуждает вопрос о нравственности. Он говорит: „во всем, доныне существовавшей науке о морали недостает всего, — как странно ни звучит это — самой проблемы нравственности, не существовало даже и подозрения, что здесь есть что-либо проблематическое. То, что философы называли обоснованием морали и чего они требовали от себя, было только, в сущности, уткой формой доброй воли в господствующую мораль того времени. Из фактов в предвзвешенной этике морали, иначе говоря, в кончике кончиков, просто отрицанием того, что мораль может быть представлена в виде проблемы“¹⁾ И, что самое важное, своеобразное отношение Нитше к нравственности не явилось результатом отвлеченных разсуждений. Вопрос о значении нравственности разрывался не в голове Нитше, а не путем умозаключений — а в глубоких тайниках его души и через мучительнейшие переживания. И на этот раз, намь всегда почти, — что-то явилась новая истина, потребовалась новая формула. Понятие и оценочное значение нравственности могли лишь тогда, кто всего себя принес ей в жертву. Нитше исполнил все ее требования, во всем подчинился ей, запустив в себя весь протест против нее, сдался ее своим Богом. И, намь истинно верующий человек, он не только в поступках своих, но даже и в мыслях не ~~разрывает~~ изливает

своей святости, не разрываясь себя какими-либо сочинениями в ее божествен-
ных происхождениях. Он во всей полноте пробирал на себя выдвига-
ющую теперь гр. Толстой формулу — „добро есть Бог“, ^{т.е.} „хорошего и про-
добра не нужно искать в жизни. Страшным откликом на
эту форму его тонкая душевная жизнь являются слова Заратустра: „Замолчан-
ные истины становятся ядовитыми“. Только тот, кто знает
Нитше, всего себя отдавая одной истине и замолгалъ всю дру-
жескую говорить о ядовитых истинах. Для других людей ис-
тина — только божья или чужая удачная и остроумная гипотеза.
Вера в сверхъестественные права морали — отравила ду-
шу Нитше и этот яд жег его до последней минуты созна-
тельной жизни. Философия его — не дерзновенная игра испуганной
ума, ищущая минутное спокойствие божьих капризов и
своих идей в святости или идеалах. Уже самый тон его сочине-
ний, стиль глубоко серьезный и трагический, исключает такое
предположение. Правда, он иногда пытается изобразить из
себя человека, играющего святостью. Но это ^{во} — напускное. Это —
их *Schau getragene Tugendlichkeit des Geschmacks*, которую люди,
как он говорит, напускают на себя, чтобы казаться поворачи-
тными и скрыть свои настроения. Но это — простое, страшное
уверенность человека, который много страдал, — что в силу его стра-
даний ему дано больше знать, чем знают самые ученые и самые
мудрые ^{!!}. И что он знает? В чем его тайна? Она — в жизни —

только усвоена и ее можно передать в полномых словах;
„лучший Ламбета усвоенны не только для тех, кто слу-
шалъ эту, но и для тех, кто служилъ добру.“ Нитше перво-
наказалъ это. „первенца приносяща въ жертву“ — die Erstlin-
ge werden geopfert. Заратустра испыталъ это на себѣ.

XIII

и здѣсь, по поводу нравственности, можно сказать то-же, что Нитше
говорилъ по поводу религии. Опрокинувъ большинство людей и не подозревая,
что съ нравственностью можно соединять такъ много надеждъ и упо-
ваний. Тѣ, которые условиями и событіями своей жизни не придвига-
лись слишкомъ близко къ этимъ „постыднымъ“ вопросамъ нашего существо-
ванія, быть можетъ и не поймутъ вовсе, о чемъ говоритъ Нитше.
Имъ покажется, что здѣсь идетъ рѣчь о простой любознательности,
да къ тому-же еще тѣмъ, которая ~~всегда~~ вполнѣ удовлетворена
быть не можетъ, т.к., сколько не бейся, ничего определенного все равно
здѣсь не узнаешь и дальше бѣгать или искать остроумствъ и
отвратительныхъ выводовъ не пойдешь. Эта страстность, съ которой
Нитше набрасывается на эти и смежные имъ вопросы, удиви-
тельна, рѣшительно не могущая договориться, изъ за чего весь
этотъ шумъ. „Мы не знаемъ ничего вѣрнаго о Быть и нравствен-
ности — и никогда не узнаемъ. Стоитъ ли изъ за этого волноваться
и отравлять себя коррумпированной жизнью?“ разсуждаютъ они.
Несомненно — не стоитъ, тому, кто такъ думаетъ и лучше, что

вна может сдѣлать, это остается въ сторонѣ отъ чуждыхъ ему споровъ,
 кенуемой ему философии и непонятной поэзии. Въ этомъ отноше-
 на основное положеніе у Толстаго о популяризаци наукъ и искусства.
 Заинтересовать болѣе тѣмъ, о чемъ размышляютъ Толстой и Кутузовъ,
 не только невозможно, но и не нужно. Боле того, ~~нужно~~ ~~нужно~~ ~~нужно~~
~~нужно~~ не нужно даже, чтобы существовало убежде-
 ніе, что способнѣе исключительно отдаваться высшимъ вопро-
 самъ науки и искусства благоу отливаетъ человека. Этихъ
 предразсудковъ, въ социальномъ столько же распространенныхъ, сколько
 и ложныхъ, воздвигается множество людей, противъ своего искренняго пре-
 дающагося кенуемой имъ заманчивости, читающихъ ехъ въ
 для нихъ философовъ и поэтовъ и разсуждающихъ о предметахъ,
 до которыхъ имъ нѣтъ дѣла. Этихъ отдають даже обществен-
 ному мнѣнію, столь возносящему чисто „духовные“ интересы. Но
 цѣнность этой дѣли далеко не одинакова для платицизма и соби-
 рающихъ а. Небольшие философы тратятъ даромъ время и трудъ,
 а общество ничего не приобретаетъ, кроме вредныхъ пустословящихъ
 людей. И, главное, — эти люди могли бы дѣлать другое дѣло,
 оное болѣе и хорошее, лучшее дѣло можетъ, чѣмъ настоящія фило-
 софскія занятія и только въ силу предразсудка убиваютъ вре-
 мя на разговора, и не имъ, и не кому другому не нужно. Поэтому,
 менѣе всего ^{слѣдуетъ} ~~нужно~~ заботиться о томъ, чтобы сдѣлать науки и
 искусство доступными „всѣмъ“. „Всѣмъ“ нужно одно, „къ которымъ“

другое. И не потому, повторяю, что „ некоторые „лучше, ⁴ваше

„ быть ~~не может, ~~ради, ~~своих~~ ~~целей~~, ~~и~~ ~~т.д.~~~~~~ „ все „лучше

„ некоторые“. Это же вопрос и ставить не следует, а тем не

менее разрешать его. Но, несомненно, что до настоящего вре-

мени о такой философии такой поэзии, которая была бы

равно нужна всем, и речи быть не может. Заставить,

например, Китче писать сказки для детей или для на-

да на тему „первый лубочка-каляка-цукунка“ в это вре-

мя, когда в печати много есть манжетовских видных

лицующих его почвой покой, точно он сам зарывался сам —

уже менее законно и справедливо, чем заставлять детей чи-

тать „Also sprach Zarathustra“. Если Китче говорить о боге,

красотвежности, науке — и говорить то, что он знает и чув-

ствовал и что знать и чувствовать другим нельзя и не нуж-

но, если его поэзия недоступна, напечатать даже бессмысленно-

многие люди, не пытавшиеся, подавать руку привыч-

ки, которые к нему никогда и не прикоснулись — то это не

оснований к тому, чтобы заставлять Китче молчать пос-

редством введения в новую поэтику правила об обязатель-

ной доступности поэтическим произведением всем людям? Оче-

видно, наоборот. Для этого больше, остающийся доста-

рости юнаты, нужна особая поэзия, особая философия — и у него

есть свои философия и свои поэты. Но его никогда не изобретать

и чуждость всяких произведений человеческого духа, как похоть считать ур. Толстой и несправедливо, глубоко несправедливо по отношению не только людям, которые больше всего нуждаются в утешении философии и поэзии и — заткнуть — повторять без пользы: Заполнить Нитше толстовское поэтика, конечно, не заткнётся.

Нитше это, конечно, знает: „... ибо люди не равны: такь говорить справедливо. И чего хочу я, того не должны хотеть они“. Правда, из этого впоследствии выросла проповедь Нитше, со Швейтценш, аристократическое учение и все прочее в этом роде, так же мало связанное с действительными нуждами его души, как и толстовское „добро“ с переживаниями философа Леопа Толстого. Оба они — и ур. Толстой и Нитше, — как проповедники представляют нам учение, которое только закрывает от нас или мирозерцание. Тот, кто вздумает да служить „добру“ по программе ур. Толстого был бы так же чужд своему учителю, как мало был бы полезен на Нитше туберку, приносящий себя в жертву Швейтценш, хотя эти оба и осуществили бы выраженное Заратустрой требование.

Мы уже видели, как далеко ур. Толстой от ляхиц, в скорблях и хористов и эксплуатируемая народа, ~~хотят~~ именованная которая он требует от нас покорности своему добру. Мы увидели дальше, насколько чужд Нитше со идеалом сверхчеловека, которой у него играет роль толстовского добра, ибо он не только импонирует и его именованная так же давить и уничтожает чужд, как и ур. Толстой своим

Винь 1941

отрицал даже. Мне же, что О. Уальде оправдывается ~~и~~ чувством
 не возводиться в идеал философии Нитше в условиях победы.
 Далее того, разного рода люди, которых соблазняют уальдовские
 забавы теперь считают возможным предаваться своим заня-
 тиям с удобоугодием, что они — предтечи Ивертменса и исп-
 довательно лучшие работники на пути человеческого прогресса.
 Нитше предчувствовал возможность такого искажения его учения
 и говорил: „мы лучше обвести оградой свои слова и высказывания,
 чтобы в них не ворвались свиньи“¹⁾ Но свиньи „проклинают“
 повсюду, ибо им и черт оградой перебирать не нужно. Они
 прославились, что кто-то, очень знаменитый, поэтому возстал
 против нравственности и образовали себя, что это им подвело
 на защиту их дела. Правда — для них в сущности ничего не
 Нитше и его теория самая последняя забота: с их точки зрения, без
 него-ли все равно они могли бы по своему. Но тем не менее
 очевидно, что для огромного большинства людей книги Нитше
 не нужны, да и вредны, т.е. приложится только то, что
 журналы и газеты так же хлопотливо ознакомят большинство
 публики „в общих чертах“ т.е. в доступном, иначе говоря
 в совершенно искаженном виде с ориентацией нового фило-
 софа. Все почти, о чем писал Нитше, слишком далеко от обы-
 нных предметов человеческого размышления и от переживания
 большинства людей и поверхностное знакомство с его сочинениями

U. d. L. Von den drei Bösen

ничего кроме ложных и ~~и~~ неправильных суждений о немъ дать не
можетъ. Въ особенности та часть учения его, которая касается Бога и
добра. Для большинства людей она представляется обычнымъ фрой-
дированіемъ противъ посвященія церкви и исполненія некоторыхъ ти-
пическихъ обязанностей добра. Повидимому, уже одна страстность
топа Киттиса должна была исключить возможность такого тол-
кованія его теорій. Ибо современность давно уже, до Киттиса, нау-
чила себя такому слабому мыслителю, какъ толстовскій Стивъ, не
очень то блюсти религиозные образы и правила нравственности.
"Vous professez d'être un libre penseur" - сказалъ ему не даромъ
Каренинъ. И, быть можетъ, лучше нѣтъ доказательствъ того, какъ
напрасно вникать въ тею Киттиса за грѣхи нашего обще-
ства случится велики раздѣляемое мнѣніе, что Киттисъ можетъ
только libre penseur, отбрасывающій себя, свободу наследеній".
Обаковские libre penseurs не воздержали бы и отъ Киттисевскихъ
испытаній, того, что они называли своими, частными. Въ свою по-
ложени они какого почтиго идола приняли бы за Бога, самое
какое правило приняли бы какъ законъ, лишь бы тотъ что-то
нибудь оправдалъ свое существованіе. И, конечно, менѣе всего бы
нападали на добро, которое, какъ известно, такъ часто напо-
лняетъ жизнь неудачниковъ судьбы. И, повѣрное не отвергли бы
состраданія, столь необходимаго страдающимъ людямъ.

У Киттиса же получилось совершенно иное. Слишкомъ проница-

теплой и честной по натуре своей, чтобы облагодетель себя и других, он в бытность бытовую приключень был оставлен лицом к лицу со всеми ужасами своего существования. Ни наука, ни религия, ни добро-никого ему не могли дать. И, сжалеясь опять то-да, что же говорит о пр. Толстом? Ничего возмочь против добра не потому, что он был суровой, терпеливой, холодный, недоступной жалости человек. Это неправда. Он не уступил бы в гуманности Тургеневу, Диккенсу или Виктору Гюго. Его сердце знало сострадание — и как знало! Он говорит: „кто может достигнуть чего-нибудь великого, если он не чувствует в себе силу и готовность приносить великий страдания? Уметь терпеть — самое пагубное дело в этом слабых женщины и даже рабы часто достигают виртуозности. Но не помнясь отъ тоски и сомнений, когда приходится приносить великое стра-дание. и сжигать собой его — это велико, в этом проявляется величие. Как видит читатель, ничто, обратное существующему мнению, в сво-ем учении повиновался не непосредственному чувству истинности, злобы или жестокого мизма. Все эти отголоски были ему в таком-же мертвом чужды, как и пр. Толстому. И он преследовал великодуш-ным жаждой спасения и обновления человека посредством слова убеж-дений. Если же он ^{ушел} ~~отшел~~ отъ этого, если он отназначил учить людей любви и сострадания, то лишь потому, что по опыту своим и наблюденью опытным, что любовь и сострадание ничего приносят не могут и что задача философа в этом: не пропагандировать

любовь ко ближнему и сострадание, а справится со этими чувствами, откликнется на вопросы, которые они задают. "Заре ты же любишь, у которого нет ни тени вообще сострадания", восклицает Заратустра - и в этом разгадка того, что называют "жестокостью" Нитше. Нитше обращается к людям, побуждая "самого себя, для которого сострадание - уже не добродетель, не идеал, который говори его главами уже перешли за этот идеал, т.е. достигли его". Он обращается к людям, которые уже не могут удовлетвориться тем, что они добродетельны, ибо хотят сострадать ближнему. Наоборот, такие люди, еще настолько наивные в вопросах добра и зла, противны ему: "но нетипичны и ~~не~~ ввиду этих сострадательных людей, блаженство в своем состраданьи: слишком не достает им стога; если и должен жалеть людей - то ~~я~~ я же хочу позаваучас сострадательным; если и должен жалеть их - то издалека". "Я думаю не говорю" пожимает он, что "добродетель - награда самой себя". Наоборот он, забывает от сострадания и для него блаженство от сознания этой своей добродетели быть не может. Сострадание называется добродетелью у всех маленьких людей: они не могут увидеть великое несчастье, великое безобразие, великую нечуждость. "Нитше слишком порою знает, как мало можно сделать в этих случаях теми средствами, которыми обыкновенно располагает сострадание, да же не ограничиваясь платоническими вздохами и красивыми фразами над несчастными людьми."

1) A. S. L. Von den Mitleidigen 2) J. Von den Mitleidigen 3) J. Der hässlichste Mensch.

Дневник 72 лет.

наю. Поэтому он говорит: „ты первый предостерегаешь ~~нас~~ ^{нас} против ^{пр} страданий — не но встать, и не к каждому, а к тебе, и тебе подобным ^{пр} людям посты этого еще новее читать, чтобы оградить философия ^{пр} ни от обаяния присловья и истолкования? Очевидно — он искал ^{пр} того-ою, чего искал гр. Толстой. Ему нужно было найти нечто, что выше сострадания и, если гр. Толстой в имя этого „нечто“ принуждал себя, к ужасу всех „нравственных“ людей, спокойно глядя на несчастье Анна Карениной, на агонию Ивана Ильича и т. д., и все время бни мательным, испытующим взглядом ^{пр} искать в нем тумань того, что разрывало бы поеназвание ^{пр} чувствосте сострадания вопросы, то и Нитше ^{пр} ~~в своей философии добивался~~ ^{в своей философии добивался} этого-же. И его Заратустра ищет прежде всего понять мир, найти осласленность земных ужасов — „великая несчастья, великая безобразия, великой нечужаги“. „Будьте тверды“ говорит он своим ученикам, чтобы уметь ^{пр} внести страстней видь жизни, уничтожающей всякого сострадательного человека. Любовь, — дама та беззаветная и глубокая любовь, на которую способны женщины, когда ушло идет о судьбе близкого или сердцу чужака, безупречна пред „великими несправедливостями“. Нитше знает это: „какое учение эти великие художники, вообще великие люди дали ^{пр} тем кто однократно разгадали их! Это так понятно, что они встраивают именно у женщины — женщины основидицы во ^{пр} мире страданий — и сочиняют сверх сил своих любовь спасать и помогать — та порода безпредельная и преданная сочувствия, которая только, особенно

1) Der hässliche Mensch.

поклоняющаяся толпа, не почитает и подвергает любви от вующую
и самоодобному истолкованию. Это сострадание обыкновенно ошибает-
ся в своих силах: женщины хотят думать, что любовь все может.
Это ее специфический предрассудок. Увы! Знание человеческого сердца тра-
гически, как бодна, беспомощна, притязательна, неуместна даже лучшая,
самая глубокая любовь: она скорее добивается, чем спасает. ¹⁾ Это проли-
вается светом на „инициализм“ Нитше. Если любовь, самая лучшая, са-
мая глубокая — не спасает, а добивается; если сострадание беспомощно, без-
силно — то, что грозит человеку, который не может не любить, не состра-
дать? Где найти то, что выше сострадания, выше любви к ближнему.
Др. Плотин на это отвечает что ~~ника~~ такое „еще“ никому, буд-
то-бы, в томъ и саму и ему самому не нужно. Кто хочет, может
разуметься верить, что др. Плотин говорит так не для учеников
своих, а для себя и, что он не знает соинтерн Нитше, что формула
„добро-братская любовь — Тон“ удовлетворила его вполне. Но Нитше, оче-
видно, этого думать не мог, ибо это значило бы отнять у Бога
его светлые атрибуты — всемогущество, всеведение и т.д. и возвести в бо-
жество бодное и слабое человеческое чувство, утешающее только познать,
что и без его помощи можно обойтись и пасующее в темных лучах,
когда помощь особенно настоятельно нужна. Нитше, в своих не-
частий принужден был отвергнуть учение и заботы людей и
уйти в уединение, чтобы там ожидать своего Заратустру, кото-
рый объявляет ему, что в мире есть, должно быть нечто, всемогущее, что

Дуб.

82

и кудато и
состраданіе, и это, добро "хорошо" (хотя, "всего", но для нас которых ~~не~~ не-
кучено, это состраданіе утѣшаетъ ^и одинокихъ, но "немногихъ" только скор-
блості, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда оно является какъ дакъ нравствен-
ности и коня отысканія "благословенія". Очевидно, что онъ уже вправду
обычно считаетъ себя стоящимъ, но ту сторону добра и зла, независимо
отъ того, насколько вообще представленіе о добродѣтели и злѣ кучено и полез-
ны людямъ для чужей общности. Утилитарныя соображенія это не зани-
маетъ, да, и вообще говоря, они въ вопросахъ нравственности не могутъ не
занять подлинное положеніе, ~~даже~~ пока она претендуетъ на высшее,
исключительное значеніе среди поставленныхъ себя человекомъ цѣлей.
Полезно или вредно нравственное правило, сохраняетъ ли оно прочность
общественнаго организма или разрушаетъ его - все это въ нравственность фи-
лософію Кипсе почти не входитъ и не должно входить. Въ, какъ и пр. Платонъ,
подождемъ къ нравственности въ надеждѣ, что она - всемогущая, что она
достигнетъ ели Бога, что отъ такой заботы человечество только выигра-
етъ - разве можетъ онъ ~~не~~ удовлетворяться тѣмъ, что нравственность
приноситъ къ какой-то пользѣ, обезпечивая обществу, безъ затратъ, служеб-
ныхъ съ устройствомъ суда и полиціи, порядка и безопасности, что нравствен-
ность - полиція и судъ, лобантъ образуютъ внутреннюю въ общественный
духъ, что нравственность принуждаетъ насъ даже тамъ, гдѣ юридическіе
корни не смѣютъ возвести свой голосъ? Поэтому Кипсе такъ же
мало было грѣха, какъ и до всѣхъ общественныхъ учрежденій, существу-
ющихъ въ мірѣ. Онъ искалъ въ нравственности благословенія свѣдѣнія

и не падала. Она была названа безземной, что все люди вправду были
ожидать от нее наибольшего проявления сил.

XIV

И вот тогда-то (пришла к Нитисе та безумная на первый
взгляд мысль, которую когда-то с таким ужасом отверг в се-
бѣ знаменитый стихотворец Гейне, что — Бог не за добро и за
доброх, а за зло и за злое, что ~~сам~~ жизнь, сила жизни не в ^{идеалах}
идеалах, которые он воспринял от матери и из-за кото-
рых он потупил себя, — а в противоположность, что „правда не
у нас, не за нас, как он думал прежде — а в материи его врагов,
которых он, как теперь г-н Толстой, уничтожал ^{когда-то} ^{словами} „без-
нравственный“, „порочный“, „дурной“. Как описать трагическое по-
ложение человека, дошедшего до того ужасного сознания, что зло, ~~к~~
которому он отдал всю свою жизнь не есть зло по прав-
де, зло — Бога, зло „добра“ в толстовском смысле, а есть зло
зла, разрушения, неправды и, что его познание — это —
всего нравственную правоту — отнять! Г-н Толстой и толстовцы
не заговаривают, конечно, теперь о злом воле. Им очевидно будет,
что не человек выбирает себя идею, а идея обличает челове-
ка — против его воли, с непреодолимой, что стихий-
ной силой. Так было до сих пор, так будет всегда у людей, соб-
ственными опытами вырабатывающих свое мировоззрение. Они
говорят то, чего ^{не} говорить не могут. Хотели бы, чтобы вразе бор-

„Кто борется с чудовищами, тому следует беречься, чтобы и самому не обратиться в чудовище. И, если та догадка владывалась в пропасть, то пропасть такая владывается и в тебя, ¹⁾ говорит Нитше. Можно ли от такого писателя ожидать весьма доступных, привычно-утешительных слов, которых требует поэтесса гр. Простого? Или „идеалов“, как выражается пр. Риль? Нитше ищет другого, ибо знает, что „слова и идеалы не защищают человека от действительности. Они говорят: „Атос fati: пусть это будет отныне моей любовью. Я не хочу воевать с безобразиями. Я не хочу обвинять, не хочу даже обвинять обвинителей. ~~Моему сердцу не хочется бороться в том, что оно само отвергает~~ ~~оно само, что так же~~ ~~так~~ Не вить — в этом пусть будет ^{все} единственное мое отрицание“ ²⁾. В дневнике 1888 года эта мысль выражена еще раз: „Моя формула человеческого величия — заключает в словах атос fati: не желать изменять ни одного факта в прошедшем, в будущем, вечно; не только вносить необходимость — еще менее скрывать ее: великий идеализм есть лишь перед лицом необходимости — но любить ее“. Эти слова объясняют читателю отношение Нитше к Богу. Он не хочет, не может жаловаться на действительность, — „разве великая жалоба не есть обвинение?“, говорит Заратустра. Отсюда вытекает то „признание“ его перед Богом, которое так пугает публику, но которое в сущности в гораздо большей мере развивается великими мыслями, чем это обыкновенно думают. Нитше дал только полное выражение тому настроению, в силу

¹⁾ М. VII, стр. 105. ²⁾ М. V, 209

которая пр. Плотин¹ отвернувшись от¹ афиняне, тогда не „воевать с безоб-
разием“, которое он не мог уничтожить. Но Кипсе нужно было бол-
ше - ~~он~~ он хотел, должен был любить всю эту обратительную
действительность, ибо она была в нем самом, и спрятаться от не-
й было нуда. Этот fati - не выдумать ни, как и вся его философия,
из которой он был привел к главной силе этой fortit'a. И по-
му тот, кто вымал бы опровергать Кипсе, прежде должен был бы
опровергнуть жизнь, из которой он перенял свою философию.

Кипсе говорит: „ты не должен убивать! Ты не должен грабить!...
такие слова назывались когда-то святыми; перед ними преклоняли
колени и головы, к ним подходили разувши... Но разве в самом
жизни нет грабежа и убийства? И считать эти слова святы-
ми разве не значит убить истину? “” Это тот же - все этот fati,
~~он не должен и не должен~~ ~~говорит~~. В жизни есть зло - оно было
нельзя его отрицать, проклинать; ~~отрицание~~ отрицание и проклятие бес-
сильны. Самое страстное исключающее слово не может и души
убить. Нужно выбирать между ролью „нравственного обличителя“,
илищаю против себя все мир, всю жизнь и любовь к судь-
бе, к необходимости т.е. к жизни, какой она ~~была~~ является
на самом деле, какой она была от века, какой она будет
всегда. И Кипсе не может комбинировать. Он оставляет свои
бессильные мечтания, чтобы перейти на сторону своего прекрасного
врага - жизни, права которой он чувствует законными. Наконец -

ная добродетель, добродетель, торгующая своими ложностями, стано-
 вится ему противна, ибо онъ слишкомъ хорошо видитъ, съ какою зави-
 ливой каждое слово гладитъ она на слухъ, которую побудить она не
 можетъ - и потому постоянно бранитъ. „Намъ слышна претензия
 человека, говоритъ онъ, отбисать цѣнности, которая превосходи-
 ли бы цѣнность реального міра“¹⁾. Самое противопоставленіе чело-
 вѣка - міру кажется ему безсмысленнымъ. Эти два слова „чело-
 вѣкъ и міръ“, „отдѣленные безмерной дерзостью маленькаго сло-
 века и“²⁾ представляются ему стоящими въ сравненій. Миръ-
 самъ по себѣ, человекъ - самъ по себѣ, какъ случайно выброшенная
 на поверхность океана щепка. Мыслить о томъ, что океанъ или
 кто-нибудь еще болѣе могучій, чѣмъ океанъ, станетъ думать о судь-
 бѣ этой щепки - нелепо. Нѣтъ такой вѣщей силы, нѣтъ связи
 между движеніемъ водъ океана и куда-нибудь этой щепки. И,
 если сама природа такъ мало заботится о томъ, чтобы охра-
 нить отъ гибели и крушенія свои творенія, если смерть, разру-
 шеніе, уничтоженіе оказываются безразличными явленіями
 въ массѣ другихъ безразличныхъ явленій, если, - болѣе того - сама
 природа пообзываетъ для своихъ цѣлей убійство и разрушеніе,
 то что даетъ намъ право возводить въ законъ „добро“ т.е. отри-
 цаніе насилія? Бродя убиваетъ человека, болотны измучиваютъ
 его, други животныя отнимаютъ у него пищу - все это естествен-
 но, все это - въ порядкѣ вещей, все это - законъ природы. И какъ

Линденберг 175 стр.

на 7 руб.

85

остался лишь же „бездаростным теоретиком“, каким был в молодые годы, когда он преклонялся перед добродетелью. Только впоследствии, под конец своей литературной деятельности ему удалось свлечь из своего „взгляда“, аристократическое „учение и говорить с таким видом, который внушил пр. Линденбергу зависть к его судьбе. Но, до конца, учение Нитше сильнее всего поразило его самого. Не даром он говорит о неуместности в известных случаях психологической проникновенности о Боге-исертвенном и животном и т.п. У него больше страстности, инстинкта, безбожия в его нападках на „добро“, тем же же для нас тут внутреннее основание, которое заставило его бороться со своим идеализмом. Настроения Нитше, на старости лет, были знакомы и Тургеневу. Кто не помнит его стихотворения в прозе „насконое“? Идеалист всю жизнь свою боится открыть глаза на окружающее над ним чудовище — и оно убивает его. Тургенев Нитшеву переживания постили только под старость. Главная его литературная деятельность была лишь выражением идеализма, которой долгие годы упорно охранял его от ужаса и отворачивания перед „насконым“. У Нитше же в произведениях, кроме того, которая помешала в первом томе, посвящен этой мрачной загадке жизни. Идеализм или действительность? Это Нитше называет „загнута в любовь кессимизма“. Очевидно, он должен был отказаться от идеализма и оправдать насконое т.е. действительную жизнь, с ее ужасами, несчастиями,

пороками.

преступлениями, ~~злом~~. Они принуждены быть посягателями на рощи-
ми островами „добро“, которое выплывает на поверхности бес-
брежного моря зла: иначе перед ними раскрывались перспективы
пессимизма, отрицания, нигилизма. Закон для человека должен
исходить от природы и не может противоречить общему ми-
ровому закону. „Зло“, то, что люди называют „злом“ и что
до сих пор представлялось нам самой страшной и мучитель-
ной загадкой, ввиду его неясности и беззастенчивого противоречия
с наиболее дорогими нашему сердцу убеждениями, перестает быть
для нас „злом“. Божье то, что в „зле“ находит добро,
в „злом“ людей великую творческую силу. „Все то, что добро
зовут злом, должно сойтись вместе для того, чтобы роди-
лась истина: о братья мои, достаточно ли вы зла для такой-
истины? Отчаянное дерзновение, гордое недовольство, жестокое „что-то“,
пресыщение, нам рожно во это бывает вместе! Но из таких
смыслов вырастает истина. Родом со злой совестью всегда
рождается знание.“

Таких речей вы найдете у Ницше множество, это собствен-
ной натуре слишком чуждо было ~~в~~ „элемент“ зла, но
почувствовав, как угасает этот недостаток, как мало он
искупается добродетелью и послушанием категорическому им-
перативу. На первый взгляд — это угасание открылось. На самом
деле зла оно оправдывает сказанные Заратустрой^и своими

1) A. S. L. Von alten und neuen Tafeln

ученикамъ глубоко знаменательная слова, которая имъ уже при-
водили разъ: „вы ^{уже} не искали меня - и нашли меня. Теперь обратятъ
все въртующее: отъ того всякая вѣра такъ мало значить. Теперь и
всю волю потерять меня и найти себя. Когда вы отречетесь отъ
меня - я вернусь къ вамъ.“ Нитице, отречение отъ наибольшей
дорожки нашихъ идеаловъ, теперь только обрѣчь ихъ. Для того, что
не побоялся пройти вальс за нимъ съвозъ все его скептицизма
отчаянія и сомнѣнія, противостоятъ свѣтъ на самихъ загадочныхъ
словахъ евангельской благовѣсти: солнце одинаково всходитъ надъ
грѣшниками и праведниками. Но не слышали эти слова свое-
таинственной противуположностью своимъ заявленіямъ нашей,
человѣческой души? Но нашему разумѣнію такъ не должно быть.
Но нашему солнцу не должно свѣтить грѣшникамъ, злымъ. Иже-
тѣма, свѣтъ же принадлежитъ праведникамъ. Если многие изъ
насъ и сомнѣвались еще признать библейское толкованіе
этихъ словъ, если многие изъ насъ и готовы были не отки-
нуть матеріальныхъ благъ у „злыхъ“, то все безъ исключенія
признавали необходимымъ предавать злыхъ нравственному
~~ангелу~~ осужденію, которое въ сущности для людей, обязан-
нымъ держаться христіанской морали, есть самое болѣе
наказаніе, самое ужасное несчастіе, какое только можетъ постигнуть
человѣка въ жизни. Можно быть негодяикомъ, болѣлымъ, уродомъ и т. д.
все это конечно несчастія и болѣзни. Но окажется, безнравственна

Это самое ужасное, что может приключиться с человеком. И, тем не менее все считают возможным и необходимым отнести к категории безразличных людей огромное количество своих близких и не только не смущаются этим, но еще ставят себя в заслугу свою способность негоревать. Гр. Толстой не может и шаг ступить, что не называет безразличными огромное количество своих близких. Читатель помнит разговор ~~пана~~ Заратустра с папой. Приведем еще слова Заратустра, из которых видно будет, до какой поразительной нравственной высоты — именно в евангельском смысле — доходит отрешенный Хитич и как мало может говорить об обычных легендах, связанных с именем этого писателя. „^{любви} Нигде же еще нет справедливости, которая не только в наказании, но и ^{найдите же} вину несет на себя; Справедливость, оправдывающую всех, кроме судей.“ Традиционная, приспособившаяся к среднему человеку нравственность оскорбляла Хитича своим высокомерным отношением к людям, своей готовностью клеймить всех, кто хоть притворно не отдаст ей дань уважения. Ей пришло в голову — и не весь мир, только люди объявляют дурными и она соглашалась на это, лишь бы не поступилась своими правами на первенство. Хитиче несть такой справедливости, которая бы не наказаніе тем, не материальной невзгоды несли на себя, а вину. Это собственно кроется под теми словами,

если не комментарий къ евангелической притче о драхмѣ и ма-
тарѣ? Ибо всякій нравственно осуждающій, всякій слагающій
вину на ближняго обязательно говоритъ про себя: „благодарю
тебя, Господи, что я не такой, какъ этотъ ливтаръ“. А вотъ
еще слова Заратустра по этому поводу: „наслаждение и
невинность — это величайшія вещи. Они не хотятъ, чтобы их
искали. Имъ должно лишь быть, — но искать должно смерти випы
и страданій“. Это ли речіи Антихриста? Имморалиста?
Для того, кто внимательно изучаетъ Нитше не можетъ быть
сомнѣній, что его нападки направлены не на христіанство, не
на евангеліе, а на тѣхъ распространителей нововоду общій литтѣ-
о христіанскихъ ученій, которая отъ всего — и отъ самого Нитше —
защитилась и свѣтъ правды. „Дорогой Богъ“ говоритъ
пр. Пюшторъ ученикамъ своимъ — лишь то, что Богъ говоритъ,
это говоритъ эта самая культурная тѣна (у Нитше „уче-
ная чернь“) и въ вѣраженіяхъ обонихъ писателямъ случается эко-
диртвез!), на которую онъ нападаетъ. При этомъ вся жизнь обра-
щается въ „зло“ и пр. Пюшторъ нѣтъ до этого года. Онъ и
не спрашиваетъ себя (вернее не хочетъ, чтобы ученики спрашивали),
какъ же Богъ не царитъ на землѣ, какъ же миллионы людей жи-
вутъ безъ Бога. Это утѣшаетъ, что онъ возмѣлъ на верную ступе-
ню нравственнаго развитія? — У Нитше. Тѣмъ другой онъ, а
другая жизнь, и потому передъ нимъ вопросъ объ изгнѣннѣ добра воз-

I. A. L. Von acten und neuen Tafeln.

188 г. 10 пр.

стали в иной форме. Внч пональ, что зло нужно так-же, как и добро, больше, чем добро. Это и то, и другое является необходи-
мыми условиями человеческого существования и развития и что
они не могут равно входить и надг. формы и надг. ~~и надг.~~

Злыми. 71 пр.

Транков сказал и значение Кипишевской формулы „по ту сто-
рону добра и зла“. Великий не может быть! Кипиш откры-
лась великая истина, таившаяся под евангельскими словами,
которые мы хотим и признавали, но никогда не осмысливали ^{внести}
в свое „философское“ мировоззрение. И на этот раз, что
родилась новая истина, потребовалась новая форма. И на-
те, подвижному, жизнь никогда не открывает своих тайн.

Вот как рассказывает об этом Заратустра: „я этою пред-
ельной высокой горой, лишь предетомь самое продолжительное
страствование — оттого лишь нужно глубже существовать, не жа-
ли я когда и буду сущаясь, глубже в страдания, в его тер-
пимую бездну. Того почеть моя судьба. Ну, что же? Я го-

товь. Маную илю прощень Кипише. И он оказался не
только покорным, но и благодарным учеником: „мне
ла страдания, великого страдания — говорит он — знае-
те ли вы, что только в этой илюе ро сикь порь со-
вершенствованна человек? Но направление души
в бродь, которое дает ей сила; я учась при

Витю

прод. 71 ар.

изд. у Емели 88

мисли о неизбежной гибели; ее смелость и находчивость
в искусстве выносить, претерпевать, истолковывать,
утилизировать несчастье - все, что когда либо было ей дано
глубокого, таинственного, хитрого, великого: разве все это
она получила не от страдания, великого страдания?
В человеке соединены творение - и творец; в человеке есть
материя, обломки, лишнее, глина, грязь, бессмыслица, хаос; но
в человеке же есть также творец, художник, твердость мо-
лота, божественный созерцатель, стиснув сердце гнет: пони-
маете ли вы эту противоположность? И понимаете ли
вы, что ваше сострадание направлено на „творение в че-
ловеке“, на то, что должно быть сформировано, разбито,
выковано, разорвано, выжжено, переплавлено, очищено; но те-
му по необходимости следует, должно страдать? А
наше сострадание - вы понимаете к чему относится
наше обратное сострадание, когда оно возмущается против
вашего, как против худшего из всех видов извращен-
ности и слабости. ^{„2)“} Какая сила, сколько страсти, пафоса
в этих словах! Разве это в самом Нитце судьба
такими способами сформировала человека. Разве это в его
душе разбивали, разрывали, выжигали, выковывали, переп-
лавливали все, что было в ней лишнее, бесполезное, ха-
отическое для того чтобы в ней родился творец и худож-

никъ, которая одетъ божественное созерцаніе въ сегомон-
декъ. Конечно люди не поверятъ, не постигнутъ посприятъ то-
му что разсказываетъ Китисъ. Люди хотятъ презирать
Зло, люди больше всего боятся страданія. Иначе они не
могутъ жить. Но, повторяю, быть можетъ и Китисъ не
прикажи бы своей философіи прежде, чѣмъ въпилъ до дна
горькую чашу, ^{поднесенную} ему судьбой. Это „иммориализмъ“
есть итогъ глубоко трагической, безыгрово несчастной
жизни. Для того, чтобы свѣтъ этой звезды достигъ
до человека, нужно спуститься въ „темную бездну стра-
даній“: изъ этой глубины она будетъ видна. Приобщаю-
сь ^{днесь} къ освѣщенію отдаленнаго свѣтила — дама сама
яркая. Недоступна человеческому глазу.

XV

На этомъ кончается у Китисъ философія и начинается „про-
повѣдь“. Начинается оправданіе и возвеличеніе своей личности,
раздѣленіе людей на высшихъ и низшихъ, достойныхъ и недостой-
ныхъ — словомъ то-же, что было и до Китисъ. Правда —
слова иные. О добротѣ не говорится. Это мѣсто занято Невер-
теньемъ. Но роль Невертенья — не нова. Это именемъ Кит-
исъ говоритъ и гласитъ то-же, что Достоевскій и гр. Плехановъ
говорили и гласили отъ имени добра. Нужно оправдать какъ ни-
будь себя, нужно забыть прошлое, нужно спастись, избавиться

отъ страшныхъ вопросовъ, на которые нѣтъ настоящихъ отвѣтовъ,
 и Нитше обращается къ старому, испытанному средству, которое
 уже столько разъ излечало больных и измученныхъ чуждымъ
 сердца — къ проповѣди. Нитше говоритъ: „въ нашу философію
 не забрасывай и свои свѣчи, всегда вносили въ нихъ голову
 старую идола“. Эти слова въ известной степени прижились
 и къ нему самому. И его Невентенхеймъ — ~~Литт~~ голова старая
 идола, только иначе раскрашенная. Вспомни за Достоевскимъ
 и гр. Толстымъ, такъ родственная ему по своимъ натурамъ,
 и Нитше не могъ вывести страшнаго вида жизни, не могъ при-
 мириться со своею судьбой. Это такое его аристократическое?
 Въ переводѣ на простой, хотя бы топорный языкъ, вырази-
 тельный такое большое преимущество ясности — это значитъ, а
 и еще немногіе — очень великіе люди; остальные — ничтожныя
 ники. Быть великимъ — самое главное, самое лучшее, что
 бываетъ въ жизни. И это лучшее — у меня есть, а у другихъ —
 нѣтъ. Главное — у другихъ нѣтъ“. Почему такое сознание уни-
 жаетъ человека, почему ему легче, когда онъ думаетъ, что мо-
 жетъ похвалиться передъ другими своими преимуществомъ —
 что разгадаетъ эту тайну чуждой психики? Но драмъ ос-
 тается драмъ. Изъ за этого Достоевскій душитъ своего
 Раскольникова, изъ за этого гр. Толстой — такъ безпоко-
 ритъ ко всей интеллигенціи. Какъ мучительна, такъ глубока

у людей потребность найти себе точку опоры, что они всячески
жертвуют, все забывают, лишь бы спастись отъ сожительства. А
въ проповеди, въ возможности исцелиться и возмужать — лучши
исходъ, какой только можно придумать, для бушующей въ души бури.
Др. Плехановъ даже марксистовъ называетъ „безнравственными“. Мар-
ксистовъ, которые изъ за идеи, изъ за того, что они считаютъ
„добромъ“ просятъ все и лучшие годы проводить за чтениемъ
„капитала“, сведениемъ статистическихъ таблицъ и дру-
гими подобными занятиями, не обещаящими имъ, какъ из-
вестно, ничего хорошаго. Можно опровергать ихъ, доказывать —
все, что угодно; но, очевидно, что только изъ за „нравствен-
ности“ у нихъ все сурь боръ затормозился, хотя они и про-
тивуставляютъ себя „субъективистамъ“. Маркс и ста-
тистка — только новая форма. А сущность — старая:
положить душу за идею, отречься, принести себя въ жерт-
ву чужой или будущей, отказать себя отъ своей воли ради тор-
жества „высшаго“ принципа. Какой еще можно нрав-
ственности? Но др. Плехановъ никому не хочетъ, не
можетъ простить. Все они „безнравственны!“ Ина-
че, какъ заботъ Ивана Ильича, распутныхъ друзей,
Ланницевъ, свое безумие? Если не на кого излечься,
не на кого напасть, то, въ конце концовъ, останет-
ся одинъ съ глазу на глазъ съ проклятыми воп-

росами, на которых „Бог-добро“ ничего ответить не
 может. Вся соблазнительность такой формулы
 лишь в том, что она дает возможность отор-
 вить себя от всего, найти врагов и бороться — хотя
 бы с блудными юношами, читающими Маркса, хотя
 бы с голодными Раскольниковыми, мечтающими об
 убийстве. Невероятно Нитше — иллыетъ то-же знаменіе.
 Изъ остановилась философія, вслѣдствіе ограниченности
 человѣческихъ силъ — тамъ начинается проповѣдь. Свои
 страданія, свой позоръ, свое несчастіе, все, что пришло
 ему вынести въ жизни, Нитше въ концѣ концовъ
 истолковываетъ въ томъ смысле, что это даетъ ему
 право давить и уничтожать ного-го. „Страданіе
 дѣлаетъ человѣка аристократомъ! Оно отдѣляетъ
 его отъ другихъ, говоритъ онъ съ той безраздѣль-
 ной откровенностью, которая такъ часто поражаетъ
 въ немъ наряду съ скептическими стремленіями
 укрѣпляется подъ какой-нибудь „маской“. И въ-дѣ-самъ зна-
 етъ онъ, какъ близки между собой люди! „Я вижу, гово-
 ритъ Заратустра, наним самого великаго и самого ма-
 ленькаго человѣка. Слишкомъ незначительна между ни-
 ми разница!“ И — тамъ же мекте „аристократизма“ сох-
 раняется! Этотъ „отдѣляющій“ отъ другихъ аристокра-

жизнь ["]внушает ["], наоще разстоянія, — тотъ наоще,
которой всегда естественный источникъ
моральнаго негодования. Я, ["]васокъ ["] — вся жизнь: есть
почва для протеста, для борьбы, есть куда хватать
надрывшееся чувство горечи и обиды. Если-бы, ["]арис-
тократизмъ ["], и нравственное ~~самодов~~ совершенство,
^{оба термина} (что ["]значитъ ["]одно и то-же, тождественно) были ["]двѣ
или самоудовлетворенія, искренности и спокойствія души,
то та форма проповѣди, которую приняли Достоевский,
г-р. Плещинский и Китцевъ — была бы невозможна,
неудачна. Только безсилье противъ роковой закладки
жизни порождаетъ ту скратую, глубоко затаянную не-
павиетъ, которой запечатлены произведенія этихъ
замысловатыхъ писателей. Съ судьбой ничего не по-
говоряется! Она равнодушна ко всемъ нашимъ про-
читаніямъ. Не проймаешь! Такъ направимъ
наше негодование на гонимыхъ: въ утѣшитель.
Нужно только уловить бить его и знать его боль-
ную лѣсть. Отъ того проповѣдь, поворота языкомъ
Китцевъ, ["]такъ мало значитъ.

Я не хочу ^{стасить это въ упрямъ} ~~Достоевскому~~ Достоевскому, Китцеву и
г-р. Плещинскому. Если ~~они~~ попытаны справиться съ „вели-
кимъ безобразіемъ, великой неудачей, великимъ несчастіемъ“

настолько изучили их своей безуспешностью, что они
 принуждены были перестать допрашивать жизни и искать
 забвения в проповеди — то в этом лежит доказательство
 высокой требовательности их натуры. Они уже не могли
 больше жить без ответа на свои вопросы — и всякий
 ответ был лучше, чем ничего. Это — „поверхностность,
 родившаяся из глубины“, как говорит Нитше. Невоз-
 можно существовать, всегда неизменно глядя в глаза
 страшных призраков. Достоевский и гр. Толстой
 этого не скажут. Но Нитше, в конце концов, и
 в этом, как и во всем, признается. В афориз-
 ме — „чему нам следует учиться у художников“,
 он описывает прием, посредством которого художники
 „украшают“ в своих произведениях действительность —
 на самом деле далеко не прекрасную, — заключает: „все
 это нам нужно перенять у художников, но быть уни-
 чеными их. Ибо у них творческая способность кончается
 там, где кончается область их искусства и начи-
 нается жизнь; мы же хотим быть поэтами нашей
 жизни, в самых малых и повседневных проявлениях
 ее.“¹⁾ Это постоянное и упорное сознание, что жизнь
 была прекрасна, эта мучительная способность видеть
 бездну дурное, ~~как~~ как бы оно ни скрывалось, и заставляет

большинство людей искать такой точки зрения, которая
бы открывала перед ними более утешительные пер-
спективы. „Аристократизм“ и „добро“ — лишь средства
украшать жизнь. При этом, правда, приходится обра-
тить взоры людей на „побесы“ или „притупленность“,
на ничтожность или безнравственность, на мелкие или
преступные существа. Но иного выхода — нет. Мы
начинаем, что египетская гр. Толстой на „войну и мир“,
чтобы всем оправдать, чтобы найти такую филосо-
фию, которая, не только наказанье, но и вину берет
на себя, которая, иначе говоря, никого не обвиняет
и ищет объяснения жизни воле людей, даже людей
ми. Но на этой высоте гр. Толстой не мог долго
удерживаться. Уже на „Анна Каренина“ он изматыва-
ет себя. И чем дальше, тем больше он замани-
вается в тот нравственный аристократизм,
который он называет „добро“, но который
только по форме отличается от нигилистического
Невертменск'а. У гр. Толстого проповедь доводит
его самой себя. Не ради бедняков, голодных и
униженных, призывает он к добру. Наоборот,
все эти несчастные ^{только} вспоминаются ради добра.
Это значит, что есть нечто двойственной жизни

ни до самых незначительных и мелких проявлений ее.

Там, где было безобразие, ужас, радость, где были умирающие от голода, где она не могла простить ту, которую никто не берет — г-жа Пюлютой воздвигает знамя „добро“, которое есть „любовь к ближнему“, „Бог, Пюль“, где шла речь о скорбной помощи и где эта помощь оказалась невозможной, т. е. там, где разразилась ужаснейшая и возмутительнейшая, жизненная трагедия, — у г-жи Пюлютой возникла поэзия проповеди. У Китти было то же. Она знала, что она „благое жертвенное животное“ и украшать себя высокими добродетелями Ивертсенска, она чувствовала, что „пропала“, что поступила „ночью“, совсем ночью — и говорила: „если есть Бог, то как-то внесу я мир, что этот Бог — не я.“ Как пряталась от двойственности г-жи Пюлютой и Китти. Но, может ли их проповедь закрыть навсегда от людей вопросы жизни? Могут ли „добро“ или Ивертсенск примирить человека с несчастием, с бессмыслицей нашего существования? Очевидно, что поэзия проповеди г-жи Пюлютой и Китти может удовлетворить лишь того, кто кроме поэзии ничего не берет из их сочинений и собственного жизненного опыта. Для человека же, серьезно столкнувшегося с жизнью,

весь парадъ великопосты и торжественныхъ словъ, которы-
ми сопровождаютъ ар. Платонъ и Нитше шествіе своихъ
„Боговъ“ — не больше значить, чѣмъ грусть торжества, ко-
торыми люди разнообразятъ свое существованіе. Это вы-
маніе не можетъ оторваться отъ князя Андрея, отъ
Ивана Ильича, отъ пастуха, которому вползла въ ротъ
звизга, и онъ, пропуская ~~Богов~~ мимо ушей нравственнаго разсуж-
денія, только напрасенникъ приучивается къ гнѣбнымъ
преживаніямъ ар. Платона и Нитше. ~~Каждый~~
~~Каждый~~ Какъ не безуспѣшно были до сихъ поръ попыт-
ки дать законченный и полный отвѣтъ на мучитель-
ный вопросъ жизни, — или люди никогда не перестанутъ
гнѣбать. Можетъ быть человеку не дано найти то, чего онъ
ищетъ. Но по пути къ вѣчной истинѣ онъ освобождается
отъ многихъ тѣлѣвшихъ надъ нимъ предразсудковъ
и открываетъ новые — если не вѣчные, то во всякомъ слу-
чай болѣе широкіе горизонты. И въ этомъ смыслѣ фор-
мула Нитше „по тѣ сторонѣ добра и зла“ является
важнымъ, огромнымъ шагомъ впередъ. Нитше ^{былъ} ~~первымъ~~
изъ философовъ, который осмѣлился прямо и откровенно
протестовать противъ неумолчливой требователь-
ности добра, объявляя, что въ вопреки всему безконечному
разнообразію гнѣбительной жизни люди признавали

сто, начало и конец всего, как говорит гр. Шолохов.
 Правда, Нитше видит одно дурное во „добре“ и прояснит-
 ель во нем все хорошее, и отступивъ только самимъ
 отъ своей формулы — а тот fati. Онъ иначе не можетъ чув-
 ствовать, какъ не можетъ раскаивающійся грѣшникъ ^{въ грѣсахъ} видеть
 что-либо иное, кроме ужаснаго. Въ этомъ вся сила и убѣ-
 дительность философіи Нитше. Если-бы онъ вѣствовалъ справед-
 ливому, мы не поняли-бы очамъ онъ говорить. Намъ нужно
 было бытѣ свидѣтелями той вражды, той ненависти, того
 отворачиванія, того ужаса предъ „доброю“, который былъ у Нитше,
 чтобы понять самую возможность его ученія, чтобы признать
 законными извѣстныя настроенія и разрывитъ имъ пе-
 рехити съ сознаніемъ, какъ принципъ. Добро — братская любовь,
 она знаемъ теперь изъ опыта Нитше, не есть Богъ. „Горе
 тѣмъ любящимъ, у которыхъ нѣтъ ничего выше состра-
 данія“. Нитше открылъ путь. Нужно искупить того, что
выше состраданія, выше добра. Нужно искать Бога.

Л. Местовъ.

Масанна, сентябрь 1898 года